

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ

АПРЕЛЬ
СЕННАЩАГОГО
КНИГА 1

ОБРАЗОВАНИЕ СОЛЖЕНИЦЫНА

Собрание сочинений в 30 томах

Александр Солженицын

**Красное колесо. Узел 4.
Апрель Семнадцатого. Книга 1**

«WebKniga»

1984–1989

Солженицын А. И.

Красное колесо. Узел 4. Апрель Семнадцатого. Книга 1 /
А. И. Солженицын — «WebKniga», 1984–1989 — (Собрание
сочинений в 30 томах)

ISBN 978-5-9691-1049-6

Пасха 1917 года. – Встреча Ленина на Финляндском вокзале. –
«Севастопольское чудо» Колчака. – Успех публичных речей Керенского. –
Множество эпизодов «народоправства» в армии и в тылу. – 20 апреля
Ленин организует первую большевицкую пробу сил. Стрельба на улицах
по безоружным. Лозунги: «Долой Милюкова!», «Долой Временное
правительство!» С утра 21 апреля – порыв безоружных добровольцев из
интеллигенции выходить на улицы, защищать власть «от красной гвардии»; те
– стреляют. Раненые, убитые, шумные споры и драки на улицах. Тревожные
переговоры членов Исполнительного Комитета и Временного правительства
– как погасить конфликт, но он не утихает весь день. – Непредвиденное
сопротивление большевикам петроградской образованной публики –
переменило планы Ленина: гражданскую войну пока отложим!

ISBN 978-5-9691-1049-6

© Солженицын А. И., 1984–1989

© WebKniga, 1984–1989

Содержание

Календарь революции	5
Вступление:	7
1	8
2	15
3	21
4	31
5	34
6	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Александр Солженицын

Красное колесо

Узел IV. Апрель Семнадцатого. Книга 1

29 марта – 5 мая ст. ст

Действие второе

Народоправство

Выход... один – революция, революция кровавая и неумолимая... Мы будем последовательнее не только жадных революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что... приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами... С полной верою... в славное будущее России... первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик «в топоры»!
Прокламация «Молодая Россия», 1862

Календарь революции (ст. ст.)

21 марта

- Разгром двух русских дивизий на р. Стоход
- Германское министерство иностранных дел затребовало у мин. финансов ещё 5 миллионов марок «для политических целей в России»
- Ф. Платтен по поручению Ленина вошёл в конспиративный контакт с германским послом в Берне

24 марта

- На Западе Страстная пятница
- Соединённые Штаты объявили войну Германии
- Германское правительство сообщило ленинской группе согласие на их проезд в изолированном вагоне

25–28 марта

- Съезд партии к-д в Петрограде

27 марта

- Выезд группы Ленина-Зиновьева из Цюриха в Германию. Германский посол в Берне: «Крайне необходимо, чтобы немецкая пресса полностью игнорировала происходящее»

29 марта – 3 апреля

- Всероссийское Сопещание Советов в Петрограде

30 марта

- Группа Ленина плывёт в Швецию. Император Вильгельм распорядился: если Швеция не примет их – перепустить через Восточный фронт

31 марта

- Встреча Плеханова на Финляндском вокзале

1 апреля

- День Ленина в шведской глуши, скрытый от биографий (встреча с Парвусом?)

2 апреля

- Первый день православной Пасхи

3 апреля

- Встреча Ленина на Финляндском вокзале

4 апреля

- Ленин в Таврическом дворце выступает с тезисами («апрельскими») об углублении революции

8 апреля

- Встреча на Финляндском вокзале Чернова, Дейча, Авксентьева, Савинкова

Вступление:

Двадцать девятое марта – одиннадцатое апреля

ДОКУМЕНТЫ – 1

24 марта

ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГЕОРГА V СТАМФОРДАМ —
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БАЛЬФУРУ

...должен умолять вас передать премьер-министру, что всё, что Король слышит и читает в прессе, показывает, что присутствие императора и императрицы в этой стране не понравится публике и конечно ухудшит позицию Короля и Королевы... Бьюкенен должен сказать Милюкову, что недовольство в Англии против приезда императора и императрицы так сильно, что мы должны отказаться от нашего прошлого согласия на предложение русского правительства...

ДОКУМЕНТЫ – 2

31 марта

ПОСОЛ В ПЕТРОГРАДЕ БЬЮКЕНЕН —
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БАЛЬФУРУ

...Я полностью согласен с вами... Будет намного лучше, если бывший император не поедет в Англию.

1

***Война и социал-демократы в сибирской ссылке. – Ираклий Церетели. –
Возврат в Петроград. – Церетели в ИК совершает поворот платформы. –
В Контактной комиссии давят на Милюкова. – Смерть сына
Чхеидзе. – Декларация Временного правительства 27 марта.***

Это возникло перед сибирскими социал-демократами внезапно: к Церетели, в два дня ставшему хозяином Иркутска, пришли спрашивать: пропускать ли подошедшие на станцию эшелоны снаряжения из Владивостока – на фронт? И Церетели, нисколько не задумавшись, воскликнул: «Конечно пропускать!» Так родилось то, что через несколько недель стали дразнить «революционным оборончеством».

Война! Сколько о ней переговорено и передумано в эти годы ссылкой. Их всех объединяло страстно отрицательное отношение к этой безумной войне, особенно бессмысленной для России, которая не нуждалась ни в вершке территориальных приобретений. Но – не состоялась надежда, что социалистические партии Европы будут бороться каждая с империалистическими стремлениями у себя дома: дико, но оказалось, что там рабочий класс испытывал больше общности с национальной политикой своих правящих классов, чем с международными задачами пролетариата. Только мы, русские, были ото всего этого свободны! – и не желали быть такими близоруко-практичными и не принципиальными, как наши западные братья. Однако мало было надежды, что эта война окончится в условиях народных восстаний, – а тогда чьей же стороне желать победы? Из Европы приходили издания, что Ленин выставял «национализм наоборот»: желать и добиваться поражения России. Но сибирские социалисты (как Церетели с товарищами по партии – Даном, Войтинским, Вайнштейном, Горнштейном, Ермолаевым, так и дружно с эсером Гоцем) приняли линию абсолютного нейтралитета. (То есть они конечно сочувствовали бы западным демократиям, но вместе с ними победит и царизм? – а это ужас. Надежда только, что коренные интересы российской буржуазии непримиримы с самодержавием и будут расшатывать его.)

И вдруг – грянула революция! И получила по наследству эту войну. И русские социалисты из гонимой безответственной оппозиции вдруг превратились в хозяев революционной страны. И это вызвало психологический перелом к войне, его даже ещё не сформулировали теоретически, а внезапно это вот так проявилось у Церетели.

Когда во Второй Государственной Думе 2 июня 1907 года уже видно было, что остаются считанные минуты или до ареста фракции с-д или до разгона Думы, – молодой стройный грузин, недоучившийся студент, но уже и вождь московского студенчества, но уже и лидер думской фракции с-д – Ираклий Церетели, с благородным изяществом движений, независимостью в поставе головы, волоокый, черноокый, в 11 часов вечера ещё успел получить слово, последний раз взбежал на трибуну и полнозвучным гневным голосом бичевал это правительство военно-полевых судов, это торжество безграничного насилия, когда штык поставлен в порядок думского дня. В тот день государственная громада самодержавия казалась непробиваемо вечной, а наши груди, особенно уже тронутые горловой чахоткой, – обречёнными на раздав.

А вот, не прошло полных десяти лет, как в столицу Сибири Иркутск, к малосмысленным обывателям и ртутно-восприимчивым ссылкой стали притекать, частными поздравительными телеграммами, известия о немислимом и мгновенном крушении этого проклятого самодержавия. Чего угодно ждали – но только не этого! И вдруг политические ссылки, до

сих пор лишь на частных квартирах да летом на дачах перекипавшие в своих кружках спорами о социалистических установках (ну, правда, иногда выпускали журналы, а Гоц умудрялся – и регулярную газету циммервальдского направления), – в три дня были признаны как единственная тут власть. И сразу же возглавил Церетели комитет общественных организаций, устанавливал 8-часовой рабочий день, на площади перед городской думой выступал к выстроенному гарнизону и затем пропускал войска маршем мимо себя, и восторженно они рявкали комитету, и неохоче – командующему Округом.

Надо было испытать этот переход после шести лет тюрьмы (по слабому здоровью Ираклию заменили каторжные работы тюремной отсидкой), потом четырёх лет усольской ссылки (вполне ужитой и плодотворной, 60 вёрст железной дорогой от Иркутска, и можно поехать в любой день, – однако же вечно безнадёжного поселения, если не бежать за границу), – и к этому вдруг сказочному мгновенному крушению векового строя (да прочен ли успех? да слишком легко достался), к этому состоянию опьянения и властного напряжения.

Но с первых же дней – и острая тревога за судьбы революции. С этой орущей солдатской массой на самом деле не было понимания, это не рабочий класс, это – стихия без определённых социальных идеалов, она даже не отдаёт себе отчёта в совершающемся и таит в себе опасность как анархии слева, так и контрреволюции справа. Российские социал-демократы давно знают из марксизма: революция не может совершить прыжка от полуфеодального российского строя и сразу к социалистическому, предел возможных завоеваний сейчас – демократизация страны на базе буржуазно-хозяйственных отношений. Но такое внезапное присоединение к рабочему классу многомиллионной вооружённой армии заманивает социалистические партии на самые крайние эксперименты, навязать волю социалистического меньшинства всей стране – а это может привести ко взрыву и контрреволюции, и будет распад революции.

Уже на десятый день этой лихорадочной безсонной иркутской обстановки у Ираклия пошла горлом кровь, и пришлось слечь. Надо же, чтобы в самые сияющие дни жизни – отказало здоровье! Телеграммами звали в Грузию друзья, родные, – но нет, тянуло ехать в самый центр революции! Поташился из Иркутска в Петербург «поезд Второй Думы», на станциях его встречали оживлённые толпы, народ искал вождей, – но у Ираклия продолжалось кровохарканье всю дорогу, он не выходил с речами, только тихо беседовал в купе с членами местных советов.

Да обгоняя медленное движение поезда, они хватали встречные, всё свежее, «Известия» Петроградского Совета, глотки революции. Уже было ясно, что авторитет Совета стоит гораздо выше Временного правительства. Резкие статьи «Известий» диктовали недоверчивое отношение к буржуазии. Но одни статьи противоречили другим – кто их писал? кто печатал? – получалось, что у Совета нет своей ясной программы. И рвалось сердце – скорее туда, и скорее покончить с этим хаосом и неопределённостью! Теперь, когда революция переходит от отрицательных задач к положительным, – нужна прежде всего ясная программа, особенно о власти и о войне. С радостью и гордостью читали, перечитывали Манифест 14 марта – то международное слово, которого всю войну чаяли миллионные замученные массы во всём мире. Да! конечно – не безоглядное оборончество. Но и – не свержение Временного правительства. И как это трудно будет объяснить сейчас рабочим массам в Петрограде: что, вот, при безусловной победе революции надо самоограничиться в требованиях? как объяснить рабочим важность этого нематериального, неосязаемого влияния технически образованных культурных кругов?

И в первый же вечер возврата в неузнаваемый теперь Таврический дворец, откуда был вырван и сослан, – Церетели говорил так в речи. И папаша Чхеидзе потом упрекнул добродушно, что в такой оголённой форме мы тут ещё не говорили, не решались ясно выразить линию Исполнительного Комитета относительно войны.

Да ещё не такой и «папаша», хотя принял Ираклия как сына, – ему всего 53 года, но очень истрёпан. Особенно он исходил и тратился в публичных выступлениях (в дни революции

забыл и свою палочку), а в простых беседах выказывал осмотрительность взглядов, совсем не было в нём того революционного кремня и железа. А ещё нужны были ему силы на большое будущее: по своему сегодняшнему положению почти несомненно Чхеидзе будет председателем Учредительного Собрания, если и не будущим российским президентом.

Церетели, как и все члены всех с-д фракций четырёх Дум, сразу получил в ИК совещательный голос. А войдя туда, за два дня увидел себя и готовым вести Исполком за собой. До сих пор самой видной фигурой тут был, кажется, Нахамкис-Стеклов. Но он же, оказывается, и издавал эти безтолковые заплутанные «Известия». А при всей своей видности он, ближе присмотреться, решительно неспособен к серьёзному политическому делу. (Керенский пригласил негласно встретиться на квартире у Соколова и нервно жаловался, что Стеклов и другие левые дискредитируют его систематически. Но сам он не решался предпринять против них. Он хотел бы – чужими руками.)

Сибирские циммервальдисты приехали с нежностью к Манифесту 14 марта: он действительно соответствует принципам революции: и борьба за демократический мир – и одновременно защита страны. Но оказавшийся автором Манифеста юркий, въедчивый, пронизательный гомункулус Гиммер-Суханов – теперь деятельно возился повернуть ИК к одному лишь требованию мира, без забот об обороне страны. И собрал подписи под такой платформой, и на многолюдном заседании ИК 21 марта с холодным раздражением, маленький, выговаривал своим крупнотелым товарищам, что Исполнительный Комитет не выполнил обязательства, взятого в Манифесте: не борется против империализма Временного правительства, но приспособляется к военной идеологии Милюкова-Гучкова. Он не отрицал оборончества в лоб, но: что всякая активность в укреплении армии отвлекала бы нас от борьбы за мир, а поэтому – все наши силы борьбе за мир; обороной пусть занимается без нас кто хочет, а мы откроем массовую кампанию в армии и в рабочем классе – против империалистической политики Временного правительства.

За свои три дня в Петрограде хоть и заметил Церетели безтолковость деяний и бросаний ИК, всё же с изумлением оглядывался: так даже без попытки соглашения с Временным правительством предлагают тотчас его отстранять, что ли? – и никто не даст этому едкому гному отпора?

Не гному! – над задымленной комнатой ИК нависал террор обезумелых крайних интернационалистов, а остальные не смели в полный голос спорить с ними. И Церетели, по струне негодования и при полной сибирской безбоязненности, с десятью годами тюрьмы и ссылки за спиной, поднялся в свои полные полуторный рост и стать:

– Революция – не должна отдавать своих завоеваний на разгром извне! В условиях русской революции нельзя сравнивать оборончество – с поддержкой империализма! А кто же будет защищать страну до заключения мира? Оборона страны – не чуждое нам дело и не компромисс, она одна из основных задач революции. Никогда ещё российская демократия не имела такой силы внутри страны – а значит, и такой ответственности перед человечеством.

Он выговаривал эти мысли то одним складом фраз, то другим, совсем не коротко и, может быть, не лучшим образом – и видел, как менялись лица исполкомовцев, – но и сам ещё не понимал, какой силы взрыв произвёл тут.

Он заварил два дня бурных прений. Против его непредвзятой сибирской трезвости – растерялись большевики, и даже узкомыслый Шляпников, с его примитивной рабочей ненавистью к буржуазии, не осмелился повторить призыв свергать Временное правительство и заменить его рабоче-крестьянским. (Упускалось, упускалось время слиться с большевиками в одну партию! Не с кем тут разговаривать! – скорей бы Ленин приехал!) А полупарализованный Лурье, с болезненным неуспеванием губ, век, движений лица за энергичным смыслом слов, лишь поучал неопытного сибирца, что вся Европа созрела к миру и надо только кинуть смелый клич, – как говорил Дантон: спасение революции в её смелости!

Но как возвысились голоса искренних оборонцев, задавленных до сих пор тут! Богданов осмелел указать, что ведь молчит Германия, молчит Европа, никто на наш Манифест и не откликнулся, а все воюют! А Гвоздев предупреждал, что, если будем молчать об обороне, – натравят на нас солдат. (Этих двух рабочегруппшцев особенно резко упрекали слева за сотрудничество с Гучковым.) И Гольдман-Либер произнёс пылкую революционно-оборонную речь: главная опасность для нашей революции – от Германии. Теперь и папаша Чхеидзе сюда склонился, и легко-надувной Скобелев заговорил о «государственно-революционном расчёте». И ещё, и ещё, и почти кто ни выступал – все оказались за оборону. (И уже уму нельзя было представить: да кто ж из них тут придумал и подписал «приказ № 1»?) Брамсон горячо горевал о нашем разгроме на Стоходе (как раз случился он в первый день этих прений). И разумеется – поручик Станкевич: что разлагает армию всякая постановка вопроса о мире; что солдат и стоек в походе и в бою только до тех пор, пока никто не внушил ему возможности мира, и в европейских армиях этого не допускают, – и как же смеем мы начинать «кампанию за мир» в армии? Солдат не призван произносить слово «мир». Резолюция Гиммера полезна только немцам. Но даже и резолюция Церетели – лозунг обороны, *параллельный* лозунгу мира, уже разлагает армию. (Станкевич очень был прямолинеен, и даже может быть слишком, и веяло от него чем-то чуждым нашей партийно-социалистической психологии, – не наш, не полностью наш.) А высокий, сухощавый, хорошо сохранившийся старик Чайковский, энесовец и кооператор, тот даже и перехвалил Церетели за государственный дух, и что надо изгнать из советской среды предрассудок против обороны, враг занял десятки наших губерний – а нам внушают мир. И отвоевание Армении, мол, вовсе не империализм, и нужда в проливах есть законное стремление России к открытому морю. От таких похвал справа пришлось Церетели уже и защищаться. И – нет, отвечал он Станкевичу, армия стала фактором политики, и её уже не отстранить от задач революции и от кампании мира в ней.

Но так били интернационалистов, что стало вырисовываться нечто более широкое: в ИК создавалось новое разумное большинство, которого до сих пор не было, менялось само лицо ИК.

И должно быть потому, что почуял это неотвратимое, – сенсационно выступил Нахамкис. Этот мясник, жаждавший крови главных генералов, гремевший в «Известиях», что Ставку надо судить и вешать, этот видный, крупный, широкоплечий бородач – трусливо славировал к большинству и объявил себя сторонником активной обороны. (Да вот что: не был он на самом деле ни левым, ни правым, а персонифицировал собой политику «от случая к случаю». И, увидя безповоротность образования нового большинства, – поспешил к нему примкнуть.)

И так разваливался большевицко-гиммеровский фронт левых. И оставалось им хитрить: просить включить в резолюцию борьбу за мир как идеал, а после голосовки изобразить такое понимание, что завтра эту кампанию за мир против империалистического правительства мы и открываем всенародно...

Э, нет. Прежде мы, Контактная комиссия (а Церетели, с первого дня такой видный и значительный, уже вошёл и в неё), будем переговариваться с правительством.

Это всё – Гиммер мутит. Замысловата была его позиция от первых же дней революции: пустить буржуазию в правительство, перевязав её левыми путами, и тут же начинать против неё всенародную борьбу – но и так, чтобы не сразу свергнуть. Однако такая путаная сложность могла удерживаться в голове Гиммера, но не может удержаться при крупных массовых течениях, – вот почему его мартовская игра уже была отыграна.

23 марта на грандиозных похоронах жертв сквозь миллионную толпу Церетели продвигался в одном автомобиле с Верой Фигнер. На всём пути её приветствовали с такой сердечностью, будто все лично знали её, многие подходили и пожимали ей руку. Её глаза сияли счастьем: освобождённый народ помнил и воздавал почести соратнице Желябова и Перовской!

Ираклий был глубочайше растроган – не представлял он такой молодой революционной веры и такого воодушевления несметных манифестантов!

Но вот насмешка! Не в какой-нибудь день, но именно в этот день народного торжества, через ночь после того, как ИК с таким трудом свергнул интернационалистов и провёл свою поддержку обороны, – именно в этот день Милюков дал своё наглое интервью о расчленении Австро-Венгрии, изгнании Турции из Европы и о проливах. Он – издевался над революционерами? над Манифестом 14 марта?

А вечером Контактная комиссия заседала с правительством в Мариинском дворце. (Скобелев и Нахамкис брали с собой толстые портфели, но набитые газетами и ненужными бумагами.) Церетели с интересом следил за лицами и повадками министров, никого он их раньше не знал. Нашёл он, что как они ни были внешне любезны, а под тем – осмотрительны. Ничего не поделывать, представители буржуазии, и с ними надо остро. Доброжелательный князь Львов поразил тем, будто он совсем не понимает: о каких *целях* войны можно говорить, когда немцы стоят на нашей земле? но кто же в мире сомневается в демократизме нашей политики? Церетели, хотя и новичок тут, сразу взялся проникнуть сквозь этот классовый эгоизм: как же можно не считаться с народным настроением? Если есть беспорядок на заводах или в армии, то лишь от неясности с целями войны: все опасаются затяжной войны из-за чужих целей. Совет только и может оказать влияние на усталые массы, если внушит им уверенность, что новых жертв требует спасение страны, а не завоевания, – и об этом правительство должно опубликовать декларацию, тогда и Совету будет легче мобилизовать рабочих и солдат защищать революцию от внешнего врага. Энергичный Некрасов и Терещенко отозвались, что рады получить поддержку Совета в обороне. И тут Церетели показалось, что этим самым коллеги по кабинету уже и отделяются от Милюкова (как Керенский на следующий день выразил и публично). А Милюков – завёл, завёл с профессорским апломбом: Россия нуждается сохранить доверие союзников, а декларация, требуемая ИК, может быть истолкована ими как начало сепаратной акции, министр иностранных дел не может взять на себя ответственность за такой акт.

Короче, видно было, что не согласен он на одну оборону, нет, хочется ему прихватить к России нечто.

Но не могли же министры не понять разумно, что без соглашения с Советом им не устоять? И Церетели – с новой силой убеждения: мы и не требуем шагов, ведущих к разрыву с союзниками. Пусть Россия заявит об отказе от завоевательных планов, а после этого обратится к союзникам с предложением пересмотреть программу действий. Даже если мы не убедим их дипломатически – мы подействуем на них кампанией через печать.

Вдохновенно видел Церетели этот выход: вот так – неожиданно, необычно и достойно может выйти Европа из своей небывалой войны!

Скобелев тут неглупо пошутил:

– Вы же сами, Павел Николаич, в прошлом году против Штюрмера объясняли нам с думской трибуны, как трудно, как небывало тонко и трудно было убедить Англию признать наши претензии на Константинополь. Так если теперь мы от него откажемся – почему вы думаете, что они будут так задеты?

А Милюков корил встречно, что вот же не откликаются европейские социалисты на Манифест.

Но тут – не было правды, одна увёртка. Хорошо! – восклицал Церетели, зная это убедительное своё состояние, когда пылают глаза, – хорошо, пусть мы не преуспеем никак в Европе – но зато мы все сплотимся внутри страны, а это главная наша сила!

И недоверчиво, недружелюбно молчавший Гучков тут сказал:

– Для единства армии – я согласен.

И Шингарёв, подвинутый сердцем: ваша вера – передаётся мне! согласен и я – если вы сумеете сплотить массы к обороне. Но – можете ли вы нам это гарантировать?!

Тут – не ответить на одном пылании. Конечно, никто не может дать гарантии заранее, имея дело с миллионами солдат. (Да когда уже так испорчено нами самими, только это не вслух.) Но настроение большинства революционной демократии – поддержать.

А Милюков – один, по-прежнему, упирался, ничем не растроганный, ничем не захваченный. Когда он упирается – он абсолютно несдвигаем.

Решили, что правительство ещё будет обсуждать и пытаться выработать декларацию.

Через два дня Контактная комиссия снова поехала в Мариинский дворец. Милюков сидел непроницаемый, а Львов прочёл проект декларации правительства. Как будто, как будто так, по тону, а нет – был тут уклон от ясного ответа по главному пункту. «Не отнятие у них национального достояния» – это смутно: а чьё достояние Галиция? Армения? а может быть, и Константинополь? Да вы напишите ясно: *Россия отказывается от захвата чужих территорий!* – и всё.

Как стопор держал их всех Милюков. Они, мол, уже сделали – максимум уступок. И сам момент прямого обращения к союзникам министр иностранных дел должен резервировать за собой.

Да это – пусть, это и лучше, что декларация сперва – к народу, поднять энтузиазм тут у нас. Но вы – *откажитесь ясно* от завоеваний!

И когда уж так успел Милюков приобрести все приёмы дипломата? Не прямым ходом, а крюком: а вы – толкуйте текст по-своему, а министерство иностранных дел – по-своему.

Да – не по-своему! Да не толковать! Нужно открыто для народа изменить направление внешней политики! *Без* этой поправки декларация неудовлетворительна – и мы объявим о непримиримости взглядов Совета и Временного правительства!

Зияет бездна разрыва. Большинство министров, и даже Гучков, понимают: ради единства – надо уступить. Но как же окостенело владеет буржуазными умами законность старых целей войны!

Спорили, спорили. Около полуночи вызвали Чхеидзе к телефону. Он вернулся с мёртвым лицом, еле на ногах, и снова сел к совещанию. Церетели, рядом, шёпотом спросил: что? Оказалось, звонила жена: Стасик, единственный сын, в гостях у товарища играл с ружьём и тяжело ранил себя. «Так езжайте домой!» Но Чхеидзе блуждал взором: решается судьба революции, как же уехать?

Сын!?!

Так и сидел, сидел на совещании – со всклокоченными редкими волосами вокруг лысины, безформенно заросший по щекам и вокруг губ, затрёпанная борода, – сидел до конца, и пытался участвовать, и никому не пожаловался!

Такой железной выдержки от усталого старика нельзя было ждать!

А кончили, в два часа ночи, всё равно без соглашения. Ираклий проводил земляка домой – он сильно ослабел в руках, в ногах.

А на лестнице встретили носилки, принесшие бездыханное тело сына.

В этот последний час заседания – он и умер. Николай Семёнович упал на лоб мальчика.

На другой день Исполнительный Комитет без дебатов единогласно постановил: считать декларацию правительства неудовлетворительной.

Наступал – великий необратимый разрыв. Раскол бессмертной Февральской революции!

И в этот самый момент позвонил телефон – и князь Львов сообщил, что правительство приняло поправку, высылает.

Привезли. Весь до слова тот самый отвергнутый текст – упорен же Милюков! – но после «не отнятие у них национального достояния» – почерком князя вписано карандашом, неостро очиненным: «не насильственный захват чужих территорий».

Вырвали!

Во взглядах мировой фанатично-империалистической буржуазии – какой же это будет поворот! – 27 марта – *первый* отказ воюющей державы от всяких захватных завоеваний!

ДОКУМЕНТЫ – 3
ОТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К НАСЕЛЕНИЮ
4 апреля 1917

...Постановлением Временного Правительства от 18 марта даровано полное освобождение от суда всем призванным до сего времени к отбыванию воинской повинности, но уклонившимся от неё... а равно и солдатам и матросам, находящимся ныне в побеггах и самовольных отлучках, за исключением бежавших к неприятелю, – если они добровольно явятся в войска до 15 мая. Все эти лица будут освобождены от суда и наказания, хотя б они до 18 марта совершили обманные действия, повреждение себе здоровья... умышленную порчу, промотание, отчуждение выданного им казенного имущества и оружия... Все не явившиеся к 15 мая будут отвечать по всей строгости законов.

...ко всем гражданам Свободной России – с призывом способствовать направлению в войска этих лиц... Пусть те, чьи мужья, сыновья и братья честно стоят в рядах армии, придут на помощь местным властям и помогут собрать... Пусть будет стыдно тому, кто из малодушия...

Министр-председатель князь Львов

Военный министр Гучков

2

Вера Воротынцева на Пасху. – На кадетском съезде. – Кн. Евгений Грубецкой в Публичной библиотеке.

У крупных соборов пасхальную заутреню служили в этом году ещё и открыто на папертях. В Казанском и Исаакиевском шли, как обычно, пышные архиерейские службы – со знатью, с членами дипломатического корпуса и даже нового правительства, и в Исаакиевский в этом году пускали без пропусков, – но туда не тянуло Веру, да и, в Москве выросши, петербургских соборов не смогла Вера полюбить, не прилегает душа.

Светлую заутреню стояла она в своей Симеоновской, с няней, – и навстречу пасхальной радости молилась, молилась, чтобы дал Господь сил в её тоске.

Раньше думала: трудно решиться. Трудно решиться – Михаилу Дмитриевичу отказать.

Нет: трудно – после отказа жить.

Да, люди – слишком слабые существа, чтобы жить без освещающего фонаря: что о каждом нашем поступке и даже мысли каждой – знает Бог, а после смерти и те люди узнают, на которых мы злоумышляли, – и не укрыться, и не укрыться.

И ещё б, наверно, не собрала бы Вера в себе такого решения – если б не как всё поползло вокруг. Вместе с долгожданной безкрайней радостью Революции ворвалось, – да на пятки ей наступая, да оттесняя её самоё, – беспорядочное, безоглядное, вседозволенное, безстыдное – *теперь всё можно*. (И – почему же??)

И вот ещё от этого – теперь-то никак не могла Вера взять своё счастье, отнять от *тех двух*, почти и не встретив их сопротивления.

Теперь-то особенно не могла, в этом потоке.

Да вздор, – совсем и не от этого.

В небесно-светлом пении заутрени, отрываемая от земли, увлекаемая выше, выше себя, как бы в ангельский чин, – Вера ощутила, что она отчётливо, добровольно и даже радостно – идёт на этот отказ.

И: ведь нельзя иначе.

Находят же люди силу отречься и вообще от вольной жизни – ради души. Ради духа.

Так и с Верой: горечь отречения останется, ещё не навсегда ли.

И *ему* – своим решением не принесёт она облегчения.

Решила – за него?

А – нельзя иначе.

А на улицах, в разных местах, в эту пасхальную ночь много стреляли в воздух – солдаты, или пьяные, или озорные – и среди богомольцев со свечками была паника.

Нева вскрылась на Страстной. Проходили льдины со снежными бахромами, левый берег очистился, у правого лёд ещё держался. При резком ветре с моря ещё подступала вода на прибыль, ломая лёд. Становились и заморозки по ночам. А как раз на Пасху привяли тёплые дни, быстро изникал снег, дружно сливала с погрязневших улиц вода. (И впервые во время таянья вода в водопроводе стала мутна, что-то на главной станции мешало очищать.)

В ночь на третий день Пасхи ещё прошёл тёплый дождь, и в Светлый вторник стояла почти летняя теплота. Вера с сослуживицей отправились в лёгких пальто погулять в парк в Лесной – и там слышали зябликов и жаворонков, уже прилетели.

Просто – *погулять*. Как будто сердце не сжато железным обручем.

Но и туда и обратно через весь неметеный (только на Невском стали подметать), неубранный Петроград, где слой мусора, где невывезенные кучи, однако весь в красных флагах, нужно

было пройти пешком: на трамваях висели гроздьи и гроздьи, на остановках стучались сотни и сотни, и никакой очереди, а толпою, и солдаты, и мужчины кидались карабкаться, отбивая, отталкивая женщин. Милиционеры, с белыми повязками, вяло стояли вблизи, но ничего поделать не могли, да и не хотели!

Уже ворчали ответственные люди и газеты, что слишком много времени потеряно после революции, теперь ещё эта Пасха не вовремя, сбивает темп, необходимый повсюду, и «Речь» призывала сограждан самим сокращать себе неуместный сейчас праздник. Но всё равно типографы несколько дней не печатали газет, и почта не разносилась, из Москвы письма идут по две недели, и, говорят, миллионы их неразобранных на почтамте.

Говела Вера в этом году на пятой неделе, а с Вербной субботы и ещё на два дня Страстной выпал ей праздник особого рода: дали ей гостевой билет на кадетский съезд в Михайловский театр.

И – такое облегчение было: уйти от своего внутреннего, забыться, как нет его.

Очень было торжественно! Говорили: это – смотр гвардии российского либерализма. Сколько-нибудь знаменитые в России имена – все были тут, и многие из них в президиуме, и почти все министры, но они опаздывали, приходили потом порознь – Милуков, Мануйлов, Шингарёв, – и каждого встречал шквал аплодисментов, прерывая оратора. (И только один Маклаков появился как-то незамеченным, скромно сел под ложей журналистов.) Делегаты съезда (триста с чем-то, не ото всех городов сумели приехать, а ещё от самого ЦК как бы не полсотни) сидели в желтокресельном партере, петроградские члены партии – в ложах бельэтажа, литерные ложи набиты журналистами, а в ярусах балкона, прослоенных рядами светильников, – гости. У входа в театр даже стоял часовой (но – одиночный, и лишь для парада, никого не задерживая). В вестибюле убрано кадетским партийным зелёным цветом, и студенты и курсистки-распорядители с зелёными повязками проверяли билеты, указывали места. Большинство делегатов – зрелого возраста, в проседи, в лысынах, с благообразными лицами адвокатов, врачей, членов управ, земского типа.

Открывать съезд вышел дюжий большеголовый князь Павел Долгоруков, но сбил ноту общего подъёма тем, что стал читать по бумажке, заикаясь. Сперва все встали почтить память положивших голову за народную свободу. Потом – впервые в истории кадетских съездов! – Долгоруков предложил «ура» в честь армии и телеграмму генералу Алексееву. Потом избрали председателем съезда Винавера, а он выступил ещё с телеграммами – союзникам и президенту Вудро Вильсону. И читал телеграмму от «Нестора партии» Петрункевича (не смог лично участвовать, но просит присоединить его голос за демократическую республику, ого), – и тут же оглашали телеграммы от съезда Петрункевичу и Короленке. А потом выпустили с первым докладом хрупкого, изящного Кокошкина – с тонкой задачей доказать, почему 12 лет в кадетской программе стояла конституционная монархия, и это было правильно, а теперь пришло время поставить республику, притом демократическую.

И Кокошкин доказал: монархия прежде сохранялась кадетами только из условий политического момента, на уровне понимания масс, а ныне этот символ стал не нужен населению, во время войны монархия разоблачила себя тем, что стала против Отечества. И это самое решительное изменение в программе тут же легко приняли бурными аплодисментами, затем и поднимая делегатские карточки. – А профессор Лосский выступил даже так: теперь и октябристы вынужденно станут республиканцами, но буржуазными, а мы – демократы и, если хотите, даже социалисты. (По залу прокинулся как бы испуг.) Но мы отвергаем социальную революцию, мы, как фабианцы, за общество эволюционного социализма. – И пылкий, всегда такой левый, Мандельштам из Москвы объявил, что деление кадетов на левых и правых – кончено, партия отныне едина, и пора ей назваться «республиканско-демократической», чтобы быть точными, и вовсе это ложный предрассудок, будто для установления республики предполагается долгая культурная и политическая жизнь народа.

Два месяца назад кадеты ничего подобного не выговаривали, а сейчас – да, это казалось уже несомненным. И высокий, статный, за пятьдесят, а видом свеж, с благородными чертами, даже и на трибуне перед залом углублённо-задумчивый, сам с собой, князь Евгений Трубецкой (очень было смешно, когда Мануйлов назвал его «товарищ Трубецкой») тоже поддержал, что форма правления России уже решена жизнью, а думать надо только – как упрочить республику от военной угрозы и от анархии.

Но что ж тогда достанется Учредительному Собранию?.. Сколько ни было блестящих ораторов в партии, а с докладом об Учредительном Собрании выпустили снова Кокошкина, – и откуда в этом слабом теле таилось столько настойчивости? И он убедительно объяснял, как сложна процедура выработки принципов и Положения о выборах, ещё сложнее сами выборы в неподготовленной стране, это – задача не четырёх месяцев. Итак, иметь терпение.

На второй день съезда было много однообразных докладов с мест, как именно власть там и сям перешла в руки народа. А потряс и прокалил съезд – Родичев. Он вышел на трибуну сразу в ударе, в экстазе: «Пройдут века – а народы Земли будут помнить 1917 год!» – и гремящим голосом, пенсне отблескивало от люстр, увлекал, не давая времени вдумываться в отдельные фразы. Что враг не пришёл в Петроград лишь потому, что за нас заступился английский флот, и сколько английских и французских костей похоронено в Галлиполи, чтоб открыть нам дорогу к Константинополю, и мы не смеем нарушить обязательств перед союзниками. «Россия – с нами! не смущайтесь криками дерзких! умеете им возражать! Века будущего смотрят на нас!»

К а к говорил! Зал был ошеломлён. Винавер тряс Родичеву руку: «Россия гордится вами! Тысячи сердец захвачены!», – а по предложению Трубецкого съезд постановил опубликовать эту речь в миллионах экземпляров. (А на утро, странно, прочла Вера газетные отчёты о речи – длинна, а мыслей мало, даже совсем нет. Вот что делает дух оратора!)

Неожиданная заминка вышла, когда оренбургский делегат возразил: «Мы, русские мусульмане, любим Турцию, не хотим ей конца», и если партия не изменит свой взгляд на проливы, то мусульмане откажутся от партии кадетов. Растерялись в президиуме, но кто же вышел отвечать? – снова находчивый и непреклонный Кокошкин: ислам тут ни при чём, ведь Мекка же восстала против Турции, а сейчас проливами владеет даже не Турция, а Германия, а если мы откажемся от перекройки карты Европы, от неотложных нужд нашей зерновой торговли – наш народ вынесет нам суровый приговор.

Да не политикой же Вера жила. Но тут, в лепно-бархатном зале, под потолочным плафоном с амурчиками, так единственен разогрелся политический воздух, как будто ни в каком кислороде, ни в каких птичках на зелёных ветках не нуждались сидящие тут, – а только в торжестве кадетской зелени, своего оттенка. Столько блистательных умов – и все собраны в одном зале, сразу. Даже не наплывёт такая мысль, что это всё – мужчины, которые выбирают же себе подруг и совсем не безразлично смотрят на женщин, – нет, в плотном электрическом воздухе зала как будто плавали лебедями одни интеллекты – и о чём бы речь ни пошла, то всё интересно. И главное: что в этом зале решат – то и будет близкая судьба России.

На третий день Винавер делал доклад о власти – приносил низкое спасибо петроградскому гарнизону за революцию. Мы должны поддерживать революционный подъём и во имя подъёма примиряться с временными неурядицами переходного периода. Поддерживать бодрость и отразить всякую угрозу контрреволюционных сил – это и есть основной тактический лозунг минуты. Но Совет рабочих депутатов переступает границы критики и начинает прямо вмешиваться в функции правительства. Наш ЦК обратился в Совет дважды – и письменно и устно, что его «приказы»

сеют раздор, граничащий с безумием и преступлением. И анархия уже вспыхивает в разных местах страны. Общественное мнение должно поднять голову и высказываться громче.

Однако тут же стали Винавера уверенно поправлять. Худо-унылый клинобородый князь Шаховской: что, объявляя республику, мы именно сблизились с нашими соседями слева, раз-

ногласия устраняются, их программа-минимум как раз и совпадает с нашей сегодняшней, они благоразумны. И надо с ними блокироваться. И даже крестьянство, аморфные слои народа, в сущности недалеко от кадетства, но левые партии быстрее вербуют там сторонников, и нам тоже надо вести пропаганду. А то в деревнях царит тьма и уже хотят делить землю. Неприемлем для нас только максимализм большевиков, но и большевики становятся с каждым днём всё благоразумней. И – снова порывистый Мандельштам: как мы близки к левым партиям, и как неисчислимы заслуги Совета рабочих депутатов.

Но не доспорили: тут-то и появился под громовые овации Милюков – и Мандельштам, его вечный оппортунист слева, приветствовал его как дорогого и мудрого вождя, и это вызвало новый восторг зала.

Большой овацией был встречен и Некрасов – молодой, а тоже растущий в партийные вожди. Он гордо, звонко клялся, что Временное правительство – погибнет, но не сдастся. (Овация.)

И снова затем Милюков: что 27-го февраля дело переворота висело на волоске, но и вне Прогрессивного блока нашлись люди с государственными умами, Совет рабочих депутатов проявляет удивительную способность распоряжаться массами, и это даёт лучшие надежды на будущее. А скоро Совет пополнится и людьми заграничного опыта, и они помогут в нашей тяжёлой борьбе.

Потом постановляли открыть в Москве памятник незабвенному Муромцеву, а прах Герценштейна перевезти из Финляндии в Россию. И провинциальные делегаты благодарили ЦК за его линию, а ЦК благодарил провинцию за поддержку, и Винавер отдельно благодарил министров, и потом весь съезд, и особенно кадетскую молодёжь, – и пусть враги говорят, что мы на ходу перестраиваем свою программу: только мёртвые не двигаются.

И когда уже он закрыл съезд – долго не расходились, кричали приветствия Центральному Комитету, организаторам съезда и министрам.

А Вера – за все четыре дня и изо всех выступавших – больше всего тронул князь Евгений Трубецкой. Он и выступал чуть не четыре раза, каждый день, так непохоже на его обычную сдержанность. Один раз – о республике. Другой раз – вообще о революции, в философском плане. И что наша революция – редкой душевной красоты. В Великой Французской мы видим якобинство и гильотину, а у нас – полная отмена смертной казни! И это сближает кадетов с соседями слева: когда в стране единое настроение, единое воодушевление – отчего бы нельзя объединить вместе все революционные партии? В том-то и суть, что наша революция – не какая-нибудь классовая, буржуазная, – но строго общенациональна, и этот национальный характер русской революции ещё ясней ощущается в провинции, нежели в центре, стоит туда поехать и окупаться. (Он только что ездил в Калужскую губернию.) И ещё выступал: что демагогические большевицкие лозунги совсем не трудно разоблачать. Надо крестьянам объяснять, что конфискация земель на даровщинку притянет в деревню много случайных – рабочих, прислугу, мелких чиновников, и придётся на крестьянина не больше, а меньше.

По своим свежим калужским впечатлениям он особенно выразительно предупредил:

– Глухая деревня, не тронутая образованием, выражает свою мысль очень неясно. Может быть и потому, что сегодня идти против общего течения не всегда безопасно. Деревня – говорит обиняками, но к ним надо прислушиваться, чтобы заранее предупредить опасности. Я бы сказал: это, может быть, не столько монархические чувства, сколько монархические сомнения: как будем жить дальше, без царя, без полиции?.. Нас пугают деревенским красным петухом – а на самом деле деревня гораздо больше хотела бы порядка, чем разбоя.

Но в общем шуме, мелькании, пестроте съезда эти слова мелькнули, как и неслышанные, никто на них потом не отозвался. А Вера очень приняла: ой, ведь всё наше будущее – в деревне, как она себя поведёт. И от голоса оратора, благородной, вдумчивой, некрикливой

манеры говорить. Да и просто потому, что он был – кумир библиотекарей с Александринской площади, признанный гениальный человек, философ, не знаешь с кем и сравнить из живущих.

А на днях он пришёл в библиотеку вновь – и книги, им заказанные, подготавливала как раз Вера, они и стояли, разбирали у конца прилавка, и ещё две соседки, чуть издали, старались слышать – так всем был интересен Евгений Трубецкой. К Вере он был очень доброжелателен (хотя в минуты самопогружения мог не узнать, или спутать, или завеситься незначашей рассеянной улыбкой; про покойного отца князя Евгения говорили, что тот по отвлечению мысли задувал не свечу у кровати дочери, а саму дочь, это у них семейное философское было). В этот раз был вполне внятн, внимателен. Вера напомнила ему его замечательные слова на съезде, о деревне. Он доверчиво посмотрел глубокими голубыми глазами, так почти полную минуту смотрел на Веру, уже может быть и не видел её? – нет, видел. И вдруг:

– Я даже сам не ожидал, насколько у меня врезаны деревенские впечатления. Не калужские, сейчас, а именно – детские. Странно, вы знаете, но этот месяц великих событий я живу – как будто больше в прошлом. Я... – Поколебался? – Приехал в Петроград на заседания Государственного Совета. А тут – революция. И в гостинице «Франция» на Морской, под эту музыку пулемётов... возвещающих рождение новой России... меня почему-то охлынуло созерцание России старой, милых отошедших... – Закрыв глаза. Открыл, ещё голубей и полней. – Связь с отошедшими – должна сохраняться всегда. И я в своём номере, под стрельбу, под шуму – два дня писал воспоминания, не отрываясь.

Хорошо, что не в «Астории» остановился, подумала Вера.

– Стал вспоминать от самого раннего детства, от дедушек, бабушек. Моего дедушки Петра Иваныча Ахтырка – величественная ампириная усадьба, для парада, не для жизни. Жить – мы теснились в одном флигельке, – но какой дворец над запруженной Ворей, остров, лодки, какой парк вековой, беседки, мостики с берёзовыми перильцами. Ахтырка осталась в душе как звуковая симфония... Каждая дорожка в парке, каждая лужайка, поворот реки – как будто *звучат*. Каждое место связано с особым мотивом, и музыкальный образ неразрывен со зрительным.

Вера замерла, чтоб он не остановился, чтоб – ещё, чтоб никто не прервал.

– А в залах висело множество потемневших, закопчённых, да и дурно намалёванных портретов предков, в орденах и лентах, а то с гончими собаками, в золотых рамах. Я их терпеть не мог. И уже после смерти дедушки прострелил из лука портрет императора Александра Павловича, в пурпурном одеянии и с любезно-кислой улыбкой.

Тёмно-русые волосы Евгения Николаевича были гладко обривлены, ни единого волоса вздыбь, борода с усами соединены в плавных линиях, всё лицо породистое – такое покойное, не прорезаемое ни гримасой, ни раздражением, всё как поле для мысли. (Хотя видела Вера раз и как он отчаянно хохотал, сгибаясь до колен.)

– После отмены крепостного права дедушка жил ещё десять лет, но был совершенно потрясён. И в июльский престольный праздник устраивал высочайший выход на большое парадное крыльцо, садился в кресло и смотрел на подваливший народ. Как мальчишки и парни лазят на высокие шести, намазанные мылом, доставать гармоники, картузы, красные кушаки, – и один за другим сползают, не достав, пока догадливые не натрут тайком ладони смолой. Когда все подарки сняты – начиналась раздача бабам и девкам – бус, платков, лент. Они выстраивались чинно в ряд, подходили по одной, целовали дедушкину руку, лежавшую на подушке, а из другой его руки получали подарок. Но дарилось – только бывшим своим крепостным, и для того стояли около очереди две бывших кормилицы, пропускали лишь своих, а чужих – в сторону, прочь.

– А всё-таки – унижительно? Для свободных крестьян? – осмелилась Вера.

Его губы нежно-болезненно излегли:

– А мы, дети, с крыльца, швыряли пряники в народ и забавлялись, как мальчишки барахтаются на песке, ловя их. И – я нарочно метил так, чтобы попадать им в головы...

ДОКУМЕНТЫ – 4

ВОЗЗВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

4 апреля 1917

Солдаты! Мы свергли старый строй, потому что в нём царили произвол и насилие... где на каждом шагу попирается чужое право – не может быть порядка...

Теперь этот порядок особенно необходим на железных дорогах. Между тем со многих дорог приходят сообщения о безчинствах и насилиях, которые допускаются группами солдат по отношению к пассажирам и ж-д служащим. Разбиваются окна, занимают чужие места в пассажирских вагонах, переполняются до того, что прогибаются рессоры, лопаются оси. К служащим предъявляются под угрозами требования, противоречащие безопасности движения, и был случай, когда машиниста, под угрозой кровавой расправы, принудили отправиться на размытый перегон.

Солдаты! Вы должны ясно понять... Покажите себя вполне достойными добытой вами свободы...

Министр-председатель кн. Львов

Военный министр Гучков

Министр путей сообщения Некрасов

3

Каким секретом берётся власть? – Не взялась. Другие возжи в ИК оттесняют Стеклова. – Начало Всероссийского Сопещения Советов. – Доклад о Временном правительстве как таран и манёвр. – Заранее гнёт жалкая резолюция. – Раскачка прений. – Пересоставляют резолюцию. – Приезд Плеханова.

Живя заветами своих духовных кумиров – Чернышевского, Добролюбова, в минувшие годы только жмуриться мы могли перед светлым видением будущего в России социализма, – и грядущая радость того преображённого мира настолько была выше наших, твоей, моей жизни, что не виляла эгоистическая мысль: а какую именно роль получу там сам? какой именно пост?

Но вот вдруг далёкий Идеал – прикатил! вот уже уверенно он ступает по России! И теперь естественно встаёт: что за место я в этом строе займу? Уже дождавшись этой поры горячего народного счастья, уже войдя под сень Революции – втройне обидно, если товарищи тебя отталкивают и не дают тебе влиять на события соразмерно твоим силам крайне левого лидера.

Когда мы изучаем историю, кажется вот так просто: приходит решительный человек и берёт власть, как будто она только его и ждала. Но когда тыходишь в события и протягиваешь совсем же не слабые руки эту власть взять – не даётся! Не берётся.

В чём дело? Какие же тут особенные методы? или особенные качества?

В прежние века надо было хорошо владеть холодным оружием, значит иметь крепкие плечи, да сидеть на коне. Но сейчас вот и плечи у тебя широкие, а это не нужно. Теоретические мысли, быстрота их словесного изложения? Но история показывает, что не обязательно этим владеть самому, достаточно рядом такого иметь, вот Гиммера.

Так что? – момент? Угадывать точный момент для каждого шага, когда короче шагнуть, а когда дальше? Но какой же был лучший момент, чем войти 27 февраля в ещё не созданный Исполнительный Комитет ещё не родившегося Совета рабочих депутатов? И возглавить переговоры с будущим правительством – и положить свою лапу на стол санкцией: существуйте! – только на наших условиях. Какой же выше пост – не правительство, а выше правительства: ты его создал и допустил? От самого первого дня – какое же положение было сильней? В масштабе всей России соперничать мог только Керенский – но он не опирался на Совет. Так разве упущен момент?

Ключевые позиции? Так самые лучшие позиции ты и занял, два лучших опорных пункта: в твоих руках безконтрольно «Известия» – лицо Совета, на всю страну виднее, чем сам Совет. И – Контактная комиссия, реальный рычаг направлять правительство, – и ты там, среди пяти исполкомцев, и твой голос там – ведущий, и ты с презрением диктуешь министрам. Разросся Исполнительный Комитет, избрали бюро из 7 человек – и ты в нём.

И это – ты сформулировал теперь уже знаменитую формулу поддержки Временного правительства: «постольку-поскольку». Нужно было кому-то прочесть Манифест ко всем народам – и это именно ты его прочёл с высокого помоста. Нужно было кому-то, не меря часов, встречать и встречать фронтовые делегации, олицетворяя перед фронтом весь Совет, – и это именно ты делал.

А власть – не взялась? Нет, не взялась.

То в Контактной комиссии Чхеидзе или даже дурачок Скобелев возражали ему перед министрами, что он высказал своё частное мнение, а не Совета. То перед военными делегациями его оспаривали. А как принудить их подчиниться? – Нахамкис не знал. Не сумел.

Или вклинился в ИК совсем чужой пролетариату поручик Станкевич. И едва ли не по каждому поводу въедливо оппонирует, и стал придирается к «Известиям», и не только он один, против «Известий» складывалась интрига.

Насторожился. Надо было озаботиться укрепить свою позицию. Но тут как раз – тут как раз приехал Церетели. И это была – катастрофа, и поворотный пункт для всего Исполкома. По своей прежней думской славе Церетели сразу без выборов вошёл и в Исполком и в Контактную комиссию (и уже шестерым тут становилось тесно, кого-то будут выталкивать) и всюду заговорил таким полным уверенным голосом, как будто с первого дня тут везде и состоял. Так уверенно, будто заранее знал и предвидел все эти ситуации.

И понял Стеклов-Нахамкис, что упустил он свои счастливые недели – возглавить советскую власть, а затем, может быть, и всю Россию. Упустил. Не хватило – точной сообразительности? смелости? *Как* она берётся, власть? Вот пойдя попробуй.

Нужен гений? Да, ты не гений. Это – не каждому удаётся.

На вершине – очень трудно стоять.

Вот когда пожалел он, что все годы колебался *внефракционным*, ни меньшевиком, ни большевиком, никем. Он был всю жизнь – одиночка, никогда ни с кем не объединён, и в этом считал свою свободу. А теперь оказалось: никакой поддержки, ни партийных коллег, ни даже друзей.

А с Церетели вместе приехал ещё и Гоц. Затем и Дан. И Либер. И это наполнение вождями, вождями всё более оттесняло первичного Стеклова.

А Церетели внезапно открыл полемику против Гиммера по вопросу о войне и мире, да с такой резкостью, какая не принята была в Исполнительном Комитете, – безстрашно шёл на немедленный разрыв между центром и левой! И его стали поддерживать правые оппортунисты. А – где же Стеклов? Грозил ему остаться на островке отшвырнутого меньшинства?.. Это уже и вовсе был бы политический конец. И он решил тут же сделать крупный шаг, пока льдины ещё не разошлись, – и переступить на ту, большую: поддержал Церетели, что надо крепить оборону, армию.

Вот уж никогда не болел социал-патриотическим сифилисом. А пришлось прикоснуться.

Он – перескочил, но по виду это был уверенный шаг неизменно идущего человека, знающего своё верно. (А в дородное тело его на самом деле вкралась большая неуверенность.)

Он рассчитывал, что так удержится в лидирующей группе – с Чхеидзе и Церетели. Но нет! Опять подвела проклятая безфракционность. Подготовили десять человек президиума для Всероссийского Совецания Советов (оно требовалось как высший парламент России, укрепить петроградский СРСД) – и от головки ИК вошли Чхеидзе и Скобелев, от меньшевиков – Церетели, Богданов и московский Хинчук, от эсеров Гоц, – а от кого же Стеклов? Ни от кого. И не вошёл. (А как наметили – так и будет. Какие там свободные выборы в зале? Что эта толпа понимает?)

За месяц революции это был первый крупный его неуспех. Невыбор в первый ряд. (Весь март он думал: будет 1-й съезд Советов, и его выберут председателем Всероссийского Исполнительного Комитета. Как бы – Президентом России. К тому съезду и вело это Совецание. А вот...)

Докладчиком? Но по войне и миру опять-таки Церетели, уже везде впереди. Только отношение к Временному правительству признали по праву за Стекловым: его доклад. И этот доклад – был теперь его главный таран. Готовил, больше ночами, писал разящие фразы! А на Совецании (в Белом зале не попав и в ложу) из депутатского кресла грузно присутствовал и наблюдал за всеми комедиями первого дня: овацией Бабушке, её безсодержательной речью, как она «вошла в этот храм Свободы», и как на стуле её выносили из зала, и полдня ушло на похороны чхеидзевского сына, а вечером деловые прения снова перебил скакунчик Керенский – для него ни очереди, ни регламента, и как жалко болтал: «я уверен, что наша уверенность

и моя уверенность», «я пошёл во Временное правительство не потому, что хотел там быть, а провести волю пославших меня»... Он, сукин сын, «не хотел» идти во Временное правительство только потому, что боялся советских коллег, и больше всего, как чувствовал Нахамкис, боялся именно его, избегал даже встретиться в коридоре. Но – и с какой же безстыдной хлестаковской лёгкостью он карабкается и обходит препятствия! – поучиться! – что ни шаг, только увенчивается наградами, в награду взял себе и Бабушку, в речи на вокзале приплёл, что ездил на Лену чуть не к ней в ссылку, а она его никогда и не видела, но: «дорогой друг Керенский, мы вас любим и умрём вместе с вами!» (При её возрасте – небогатое обещание.)

Именно такой лёгкости и не хватало Нахамкису, тяжеловесу.

Совещание Советов, из-за обилия фронтовых делегатов, убедительно пошло в пользу продолжения войны (правильно сделал, что перескочил на другую льдину) – никто не сбивал, кроме немногих большевиков. Но и большевики не посмели тут ясно выразить, чего ж они хотят, и Каменев, и Ногин: вот будет всемирное восстание пролетариата и кончится война, – а если не будет?? Этот пропуск заметило всё Совещание, и простаки в шинелях.

Но и видно же было, как Церетели безмерно преувеличивает нашу «победу над буржуазией» и какое теперь с правительством достигнуто единство. Он даже так оппортунистически поворачивал, что само правительство вот сделало решительный шаг по пути, указанному демократией, и отказывается от имперских намерений. Но – *wer «А» sagt, muss auch «В» sagen.*¹ И не оставалось теперь Стеклову другой линии на Совещании, как поддержать Церетели: да, поражение на фронте было бы концом русской революции. Он выступил в прениях – 5 минут, рядовой оратор, это не лидер и не докладчик, но и в 5 минут успел: что Церетели блестяще развил аргументы, что *мы* побудили правительство сделать шаг значительной важности, а резолюция Каменева – всего лишь общая схема интернационалистических принципов, но не даёт ответа на наболевшие вопросы сегодняшней минуты.

Мог он рассчитывать, по крайней мере, что нейтрализовал Церетели относительно *своего* доклада?

Такая спешка и перегрузка была у головки ИК, что не проверяли у докладчиков заранее ни содержания, ни даже тезисов, на это Стеклов и рассчитывал. А тут – как раз безфракционность помогла: тезисами не должен был делиться и ни с кем. Однако. Исполком стал уже настолько предусмотрителен, что по каждому главному докладу заранее утверждал будущую резолюцию, которую в зале и проведём. И проголосовали резолюцию, что правительство «в общем и целом» заслуживает поддержку «постольку поскольку», стекловская же собственная формула! – но тем связали Стеклову руки: эта резолюция была – совсем не то, что он хотел говорить и как он хотел ударить. Ему самому оставалось решить: говорить ли всё, как жгло его?

И он решил, что – да. Резолюция – связывала, но в стране, но в Петрограде не было равновесия, правительство не годилось никуда, не стояло на ногах. Резолюция – связывала, но можно так горячо построить доклад, что Совещание само отвергнет резолюцию – и повалит дальше вперёд, за докладчиком! Сам доклад, весь простор манёвра – оставался за ним, а там – как удастся, куда вытянет. Но – потряхнёт он и зал, и Исполком! А горячности ему не придумывать: она всю войну не утихала, клокотала в широкой груди Нахамкиса, затаившегося под корой снабженца Союза городов лишь временно. Эта горячность вот недавно гнала его перо, когда он писал для «Известий»: «Ставка – центр контрреволюции», «Генералы-мятежники». Эта горячность напрягала его брови, когда кто-нибудь при нём только называл имена Гучкова или Милюкова. Он верил, он знал, что плетутся, плетутся контрреволюционные интриги – в каждом армейском штабе, и в каждом обывательском подпольи, и в самом сердце правительства.

¹ Кто сказал «А», должен сказать и «Б» (нем.).

Так что ж, вслед за докладом Церетели, что правительство послушно-хорошее, – теперь предстояло ударить по нему, что оно враг?

Неизбежно так!

Исполком будет в ярости! – но бессильной, если увлечь зал!!

Это будет и речь его жизни. Тут он может взять реванш и вернуть себе лидерство.

Только оживляя раннемартовские дни, он сам явится во весь размер. Пришло в голову: показать собранию этот клочок чуть не обёрточной бумаги, на которой крупными буквами он написал свои исторические 9 пунктов для правительства. Прежде, чем «отношение к Временному правительству», надо было объяснить, как он *создал* это правительство.

И – вышел на всеизвестную думскую кафедру прославленного Белого зала. (Неудачно только, что время позднее, десять вечера.) Перед ним сидела не Дума, но – сильнее Думы.

– ... Товарищи, слышатся голоса, упрекающие Совет в слишком мягком, я сказал бы снисходительном, отношении к Временному правительству. Даже и в том, что Совет допустил самообразование этого Временного правительства и не постарался так или иначе сам стать на его место.

(Говорят ли так? Разве только большевики. Говорят скорей, что Совет парализует правительство.) Так вот:

– Я позволю себе обратиться к истории этих отношений и хотя бы в самых схематических...

И – открыт путь для жгучего рассказа. Вот, всё живей встаёт, веет над этим залом —

– ... знаменитое ночное заседание. Да вот, товарищи, – вытащил из пиджака и развернул, – знаменитый исторический документ на клочке плохой бумаги... наши 9 требований... С которого почти буквально, что неизвестно ни большинству русского населения, ни тем более всей европейской и вообще заграничной прессе, – почти буквально Временное правительство списало свою знаменитую программу.

(Слышите вы там, министры!)

И – поднял мятую бумагу, и терпеливо показал залу во все стороны, и оборачивая её. Это и была ось вращения, это был его аттестат лидерства.

– Вот этот документ! Я не пушу его в ход, по рукам, так как он может пропасть, а мы представим его в музей истории. – И так сладко самому. – Если вы хотите – я его оглашу, но тогда я превышу назначенные мне полчаса.

Голоса из зала: «Просим! Просим!» А президиум вынужден помалкивать.

И Нахамкис живительно почувствовал себя снова на своей упущенной вершине. Он стал медленно читать, пункт за пунктом, как стояло у него – и как Милюков исправил: вот тут карандашом, вот тут карандашом...

– ... Хотели нам, победоносной русской демократии, навязать романовскую монархию, в частности Милюков настаивал провозгласить императором наследника Алексея, а регентом Михаила Александровича... Но тот русский народ, который совершил революцию, он поручил нам заявить, что признаёт единственной формой правления демократическую республику. Вы можете поэтому представить себе, как мы были поражены и возмущены, когда узнали, что Гучков и Шульгин едут в Ставку, чтобы там заключить с Романовыми какой-то договор. Я забегаю вперёд, но должен сказать, что наш Совет дал повеление своим комиссарам остановить поезд, который заказали Гучков и Шульгин.

Шумные восторженные рукоплескания! Сила Совета!

– К сожалению, каким-то образом эти господа проскочили и сделали то, что вам известно... Но Михаил Александрович, как остроумно выразился один из товарищей солдат, «встал на нашу точку зрения»...

Но при такой силе рабочего класса – отчего же Совет не брал власть, как, теперь ясно, надо было?

– ...Мы получали слухи, что с севера на нас идут пять полков, а с юга генерал Иванов ведёт 26 эшелонов, а на улицах раздавалась стрельба, и мы могли допускать, что слабая группа, окружавшая Таврический дворец, будет разбита, и с минуты на минуту мы ждали, что вот придут и если не расстреляют нас, то заберут...

Зал захвачен. Успех! Уже и вторые полчаса текут, но Чхеидзе не смеет сигнализировать докладчику.

– Но дело не в этом. Для нас не было психологических причин самим стать на место цензовых, крайние революционные партии не могут принимать участия в буржуазном правительстве в эпоху капиталистического строя.

Теперь сокровенная история была рассказана – а вот времена поближе:

– Но после первых же дней мы спохватывались, что правительство что-то делает вне нашего контроля и есть некоторая задержка в осуществлении наших требований, и в речах некоторых министров мы уловили нежелательный оттенок. Мы посчитали нужным дать им толчок, мы заявили, что считаем необходимым приступить к практическим шагам: издать закон, объявляющий вне закона всех генералов – врагов русского народа, кои дерзнут поднять свято-татственную руку на завоевания революции. И нам было обещано, что этот декрет будет издан. Но, товарищи, он до сих пор не издан.

Нахамкис ступил на стезю своей любимой ярости – против генералов, и его занесло, уж он и путал от души: да, он писал такие статьи в «Известиях» и настаивал в Контактной комиссии, но никто никогда ему не обещал, и даже свои советские смотрели диковато. Однако вот – он лил сильным голосом, и никто не поправил его из президиума – и в тёмных провинциальных и фронтовых делегатов переливалась та же ярость: генералы-изменники, генералы-предатели, очевидно поимённо известные, – а Временное правительство их щадит?

– Но когда был возмутительно освобождён генерал Иванов, который вёл на революционный Петроград несколько эшелонов войск, оказался на свободе без ведома Совета...

Удар по Керенскому, но тот силён, назвать нельзя, а вот по кому, самому ненавистному:

– ...Жизнь убедила нас создать постоянный орган давления на правительство, а главным образом – на деятельность военного министра, до сих пор внушающего нам – а может быть и вам, товарищи?? – величайшее опасение.

И захолонули сердца: как? и военный министр? и он – тоже изменник??

– До последнего времени он даже не появлялся на общих заседаниях совета министров, когда мы туда являлись с нашими требованиями, а должен сказать, что три четверти наших вопросов касались военного министра. Мы всё время получаем сведения с фронта, и это не секрет, что авгиевы конюшни старого режима среди командного состава неэнергично чистятся.

Аплодисменты! Да! Да!

Он уже бил – на весь полный размах! Он бессознательно копировал столь удачную, столь последственную первоноябрьскую речь Милюкова, с этой самой кафедры, пять месяцев назад, – но теперь против самой милюковской компании.

Кто бы уж там вспоминал о регламенте! кому б теперь, хоть и квёлому председателю, разрешили бы перебить!

Думал ли Нахамкис тут, сейчас, на Сопещании – свалить Гучкова, а там пойдёт само, арестуют Ставку? Да жгло его, что головы главных генералов так до сих пор и не полетели! Бить – так бить, вспоминай всей генеральской сволочи до дна!

Зал – в руках. А что есть революция? Революция – вот это и есть – передвижка масс, ещё не осевших, ещё не утеревших своего движения, – и довольно бывает одной речи! одного толчка! одной фразы!

А – какой?

«К оружию, граждане»?.. «Бей их»?..

Не хватало... Не хватило чего-то... У самого не хватило – находчивости? дерзости? прыжка?

А в голове – мешает план доклада, сколько ещё не сказал, а пропустил, надо вернуться... (А в конце – всё равно неотвратимо сползёт к жалкой резолюции...)

Не то. Не Дантон.

Но – с новым напором:

– Для нас не секрет, что по мере возвращения жизни в нормальное русло начинается несомненно и организация контрреволюционных сил! Та кампания клевет и инсинуаций, которая ведётся против нас в буржуазной прессе...

«Анонимы в Совете»?.. – да кнутом по всем шавкам, задрожите!

– ...Есть какой-то *объединяющий центр*, из которого как по команде даются сигналы и лозунги. Вы знаете знаменитую кампанию по поводу Приказа № 1?.. Вы знаете попытки дискредитировать гарнизон Петрограда, подавший сигнал нам всем к свободе, – под предлогом, что он здесь уклоняется от несения военной службы, тогда как он на страже свободы? Совершенно очевидно, что контрреволюционные силы начали скопляться вокруг пока ещё скрытого, но какого-то *центра*, готовят обход революционной демократии!

Громогрозно:

– И нам *известен* этот организующий центр контрреволюции!! Но мы его пока не назовём. А впоследствии. И ему должен быть дан отпор – и я надеюсь, что этот съезд скажет своё авторитетное слово. Выскажет, что для Временного правительства пришла пора дезавуировать кампанию – и тогда мы увидим, насколько мы можем дальше оказывать доверие Временному правительству.

Чуть пониже прежнего, а ещё прекрасный плацдарм, ещё можно крикнуть «к оружию!» – но нет этой лёгкости, но нет этой дерзости, но почему такое тяжёлое тело, тяжёлый голос, тяжёлый план доклада?

Да и не план, оратор сам заблудился, он потерял напористый порядок мыслей. Опять к этим первым пылающим дням революции.

– И Приказ № 1 был подлинное творчество народных масс – сами солдаты выработали этот акт!

Аплодисменты. Да зал – всё время сочувствовал и шёл за ним!

Зал – шёл за ним, и надо было энергично вести его к удару! Но по какому-то недостатку хваткости ума зацепился за *двоевластие*, о котором жужжали буржуазные газеты, и стал объяснять подробно двоевластие. (Шло дело к полуночи, Чхеидзе задрёмывал, но не прерывал.)

– Безсовестные клеветники! Когда Приказ № 1 был издан – никакого Временного правительства не существовало – а кто этот слабый думский комитет? кем избран? Он был бледным, слабым созданием цензовых слоев, тогда как наш Совет вышел из здоровой широкой стотысячной массы.

Уже так устоялся язык их всех, советской верхушки: никогда не выдавать вслух «Исполнительный Комитет», а всегда – Совет. У трёхтысячного Совета плечи широкие.

– А что следует разуметь под двоевластием? Это не двоевластие, а законный народный контроль, чтобы заставить их считаться с требованиями революционного народа.

Исчерпано. А попутно он где-то упомянул династию Романовых – и в недомобилизованном его уме это зацепилось счастливой попутной находкой – да! царя же! царя! – и он потянул за леску:

– ...Эта династия, самая зловердная и пагубная из всех... Мы получали сведения, что ведутся переговоры с английским правительством, чтобы Николая и его семью отпустить за границу. И когда мы от наших товарищей железнодорожных служащих получили известие, что по царскосельской дороге движутся два литерных поезда с царской семьёй в Петроград, – мы подозревали, что ему подготовлен путь через Торнео на Англию. Что мы должны были

делать? Испугаться призрака двоевластия или принять самые энергичные меры помешать побегу тирана?

Бурные! неистовые аплодисменты! Зал ревёт.

И это была – последняя возвышенная площадка для атаки! для поворота истории всей российской революции! Он снова возжёт раннемартовскую горящую атмосферу! И зал был – в руках докладчика!

Но эту площадку – Нахамкис, по дефекту гениальности, разорвал с прежними, он не слил её с контрреволюционным подпольным центром, с мятежной Ставкой и теми генералами, которых надо обезглавливать подряд, подряд.

А между тем – шёл третий час его исторического доклада, и за полночь. И ощутил на шее висящий жернов обязательной резолюции. Никуда ведь дальше не взлететь. И даже бычья шея его стала гнуться. И ослабел голос. И – снижаясь, снижаясь:

– Я надеюсь, вы примете резолюцию, которую я имею честь предложить вам от имени Исполнительного Комитета. «...Признавая, что Временное правительство... проявляет стремление идти по пути, намеченному... настаивая на постоянном воздействии Совета в смысле побуждения его к самой энергичной борьбе с контрреволюционными силами... признаёт политически целесообразной поддержку Временного правительства *постольку, поскольку...* неуклонно к упрочению завоеваний революции...»

Близко к часу ночи еле промямлил Чхеидзе перерыв Совещания до завтра, но члены ИК кинулись в свою комнату и возмущённо, и бешено на Стеклова: как посмел он всё извратить? Сворой мелких стояли вокруг – а тополь-Церетели в рост ему, горели чёрные глаза.

«Как посмел?» – этого хоть и не спрашивай, сказано, не воробей. Стеклов устойчиво протестовал: докажите, что я нарушил? в чём отошёл от резолюции? Революция – беспощадна, ибо ей приходится спасать высшие ценности человечества, невзирая на лица. А на *этих* из Временного правительства история уже отточила свой топор.

И большевики поддержали его, очень довольные.

И опять выручила безфракционность: никакой фракции он не изменил.

А со следующего утра потекли прения по докладу. Взгорячённых, записалось ораторов больше ста двадцати. Не такие простаки сидели в зале, как можно было думать по шинелям (да среди них немало было и опытных социалистов). Многие сразу заметили, и с этого начинали. Доклад товарища Стеклова был *против* резолюции Исполнительного Комитета, из всей истории отношений с правительством выводы прямо противоположны резолюции, и ни одного слова в её защиту докладчик не сказал. После доклада товарища Стеклова резолюция совсем неудовлетворительна. Докладчик достаточно обрисовал, что представляет собой это правительство, он внёс в наши умы огромную смуту. Эта резолюция, несомненно, не имеет никакого отношения к докладу товарища Стеклова, и если бы он задался целью дать резолюцию, противоречащую всему его докладу, – то лучше бы он сделать не мог. (Рукоплескания.) Докладчик может себя поздравить с результатом.

И правда – смог! Его – поняли! Он этого и хотел. А Исполком – с натянутым носом.

И – два дня – три заседания – катил вал прений по докладу Стеклова (во раскачал!) – и один только Гендельман, московский эсер, резко напал на Стеклова: что это был не деловой анализ, а какой-то фельетон, которым увеселяли собравшихся, для ответственного деятеля недопустимо, разные мелкие факты, товарищ Стеклов сорвал аплодисменты, как не дали увезти Николая Романова за границу. И непонятна фигура умолчания: почему же не назвать центр контрреволюции, если он известен?.. – Но тут же, с таким же запалом, отвечал ему Эльцин: пусть доклад был и фельетонного характера, это не важно, важны факты, которые привёл товарищ Стеклов, а они не были опровергнуты, а выводы мы сделаем и сами!

И правда, показалось Нахамкису, что он переиграл Исполнительный Комитет! Выступали солдаты и провинциалы, и чем примитивнее, тем больше они были взволнованы его

докладом. Нет, сказать этому правительству: они – политические враги, которым мы доверять не можем! Считаю только себя, нас вот тут, законной властью революционного народа, а Временное правительство – исполнителем временных задач. Мы, армия и рабочий класс, имеем право вершить судьбы России и только временно не мешаем правительству, покуда оно осуществляет нашу собственную программу. Аб-со-лю-т-ное недоверие правительству, вышедшему не из среды революционной демократии!! – аплодисменты! Выше и выше поднять революционную волну, чтоб не дать ей снизиться! Наша резолюция должна быть манифест к народу – а не такая! Если и может стать какая-нибудь задача – то в форме *захвата власти* и установления революционного правительства!

Ещё ли – мало? Чего ещё хотеть докладчику? Да забурлило больше, чем он мог ожидать.

Ещё! Ещё несколько толчков! А вот:

– Товарищи! Пора перестать играть в прятки! Если действительно наше правительство считает себя не самодержавным, а поставленным революционным народом, – оно обязано *сюда явиться!* и дать отчёт всем нам, революционной России!!

Достигнуто? Победа?! Героическо-трагический момент Великой Революции??

И уже председатель ставит на голосование пятисот делегатов в зале:

– Есть предложение призвать сюда, в эту залу, всё правительство в совокупности для дачи объяснений по обсуждаемому вопросу и освещения всей картины деятельности правительства.

И ведь – придут, презренные! Ведь не посмеют не прийти!

Но, из президиума:

– Мы можем призвать правительство каждую минуту. И, если понадобится, мы пойдём в этом отношении и дальше. Но Исполнительный Комитет сейчас не находит необходимым это делать.

Церетелевские оппортунисты захватили Исполком...

По залу – бурные перекрики.

Церетели отвёл удар, размазав перед делегатами ещё новую теорию: будто во Временное правительство входит буржуазия разумная, и вот она пошла на огромную уступку во внешней политике и охотно работает с Контактной комиссией.

Да и из фронтовиков вылезали с чумазыми мозгами:

– Не надо, товарищи, афишировать давления на правительство и вызов ему. Давить, давить, да и раздавить нетрудно. Не надо опьяняться властью. Надо помнить, что мы здесь – не вся Россия, и не вечно длятся времена революции, придёт другое время.

Так – и в прениях раздвоилось.

– Позвольте баллотировать предложение о вызове Временного правительства.

Напряжённое голосование.

Отвергнуто.

Сорвалось. На «явке правительства» – перебрали.

И сорвалось.

Великий момент Российской революции – не сложился.

А заседания – всё рваные, с перерывами, а в перерывах – жужжат и выются фракции, то разлетаясь по маленьким комнатам, то собираясь вместе, в давке, безтолочи, и негодуют: «Возмутительный, дезорганизаторский поступок Стеклова! Резолюция теперь опорочена! Теперь неизбежно сдвигать ещё левей!» (А он стоит тушей, выдерживает.)

И – пересоставляли резолюцию. Путали её, удлинляли, разбивали по пунктам, – и постепенно становилось всё строже и неумолимей для правительства, и, bravo, ничего уже не оставалось там ни от какой его независимости. (И довольный Каменев снял с голосования свою большевицкую резолюцию.) Но: *в целом оказывать ему поддержку??* Меньшевики с эсерами всё лучше слаживались и стоваривались, меньшевики для себя тут находили то утешение, что

всё же Временное правительство остаётся как оно есть, свергать не надо, и Совету не надо брать на себя ответственность власти, чего очень боялся Дан.

И – кому же эту резолюцию идти читать покорно с кафедры? Да разумеется, докладчику.

Резолюцию – что ж, охотно, он, в общем, выиграл её. Но выиграл – не на ту ступень, какую надо. Переворота – не совершил. Хотя добился бессилия правительства. И несомненно, утвердил себя.

И – вышел, здоровенный, и крепким, сильным голосом, однако без крепости в груди и без огня, читал изменённый набор пунктов. А от себя добавил, с последней надеждой на ещё одну вспышку бунта в зале:

– В общем и целом, правительство свои обязательства выполняло – под нашим постоянным давлением. А контрреволюционные силы не дремлют.

Но победа слишком неполная, и надо успеть шагнуть и в сторону Церетели:

– Хотя при известных условиях может и правительство дать отпор контрреволюционной агитации... Временное правительство стоит левее кадетской партии. Нельзя говорить о его банкротстве или неспособности. Вопрос о замене его более левым демократическим пока не стоит.

Голоса:

– Да это – ещё новая резолюция! Дайте перерыв!

А Стеклов невесело:

– Это – та же резолюция. Исполнительный Комитет лишь обратил внимание на указания Совещания, и переделал.

* * *

Заседания рваные ещё и потому, что 31-го вечером – приезд Плеханова и нужна была торжественная встреча.

С Совещания вожди ИК пошли на вокзал, ночь пропала, на следующее утро продлили Совещание с трёх дней до шести, продолжались прения по докладу Стеклова, а остальной десяток вопросов ещё и не начинали обсуждать.

От приезда Плеханова многие социалисты, Бурцев особенно рьяно, ждали какого-то поворотного революционного чуда: вот приедет Сам! вот рассудит! Он могуче вмешается сейчас в политическую борьбу, веско выскажется по всем жгучим вопросам! Праздник всего Освободительного движения! На Финляндском вокзале собралось тысяч десять, публика – во всю длину платформы, женщины с красными розами, впереди цепью милиционеры с винтовками и солдаты. Команда «на караул», марсельеза – а из вагона Церетели, Скобелев, Чхеидзе и Бурцев на руках вынесли – маленького измученного старичка, ошеломлённого встречей. В парадных комнатах приободренный и даже сияющий (насколько мог после смерти сына) Чхеидзе приветствовал приезд Отца русской социал-демократии, который внесёт умиротворение в расколовшуюся социал-демократическую семью. И ещё несколько ораторов, всё о том же: что своими знаниями и авторитетом он наконец объединит русскую социал-демократию. А он еле еле собрал силы ответить, что не сомневается в светлом будущем России, которое вот теперь и наступит, – и понесли его дальше опять на руках, к внешней толпе, в автомобиль и в Народный дом.

Нахамкис – не поехал за ним туда, не ожидая яркой речи (а не было и никакой). Он уже тут, на вокзале, понял: отработанный старик, совсем не тот, какой ещё 15 лет назад крепился в Швейцарии, и Нахамкис тогда чуть не поклонялся ему. Нет, ничего он уже не даст, ни на что не повлияет.

И это подтвердилось через день, когда привезли его в Белый зал на Совещание, и он, подсобрав силы, произнёс слабым голосом речь. И – что за жалкая речь? Вспоминал Лассаля,

и зачем-то Фохта, и даже Дарвина, трусил пылью старины, и про свой литературный талант, и про свою былую боевитость, и как он всё предвидел о русском рабочем классе, и как это всё посеяно Великой Французской Революцией... Посеяно-то посеяно, но, мямля эту речь, не представлял Плеханов динамики здешней обстановки и как она ждёт себе твёрдого направления. Ещё похвастался, что он – и есть *социал-патриот*, так и вышло безтактно.

Отстал старик. Обогнала его революция. Уже он не вождь.

4

Князь Павел Долгоруков. Поездка по фронтовым полкам.

До самой этой войны князь Павел Дмитриевич Долгоруков был убеждённый пацифист, даже председательствовал на мировом пацифистском съезде в Стокгольме. Хотя в десятилетие и вспыхивали войны – то русско-японская, то на Балканах, то итало-турецкая, но они казались судорогами прежней злобной жизни человечества или недоразумениями, вовремя не устранёнными мешкотными дипломатиями, – а так зримо разливалось над землёй торжество Разума, наконец достигнутое блудным человечеством к началу XX века!

Открытие европейской войны потрясло душу князя, как взорвало её прямым попаданием снаряда, наполнило чёрными клубами отчаяния. О, совсем не достигнут тот век Разума, и ещё когда будет! И какие же затаённые силы злобы и коварства открылись в Центральных империях! Теперь князь Павел служил обороне России как мог, рыдал над нашим отступлением Пятнадцатого года, а потом всё более наполнялся всенародным гневом от осинового гнезда мясоедовщины, от распутинщины, от того, что царизм перестал быть оплотом против внешнего врага, не работал для победы как надо, а может быть даже лицемерно работал для поражения, даже может быть в прямом союзе с Вильгельмом. И в ответ, в торжественном немом договоре всех действенных сил страны, в тревоге за её державное будущее – народилась оздоровляющая, дивно безкровная, национальная революция, расчищая теперь все пути к победе России! Восстали ради общенародного идеала, и революция была подлинным детищем всего народа. Верный признак: раз страна приняла переворот как должное – значит, он назрел в глубинах народной жизни.

И добрых две-три недели князь Павел был как переполнен пасхальным звоном изнутри. Так он дожил и до кадетского съезда в конце марта – величайшего торжества партии и всей русской общественности за столетие – и среди других вождей выстраивался на сцене Михайловского театра при воодушевлении всего зала. И Винавер возгласил основную задачу партии: отпор контрреволюционным силам справа.

Но уже и перед тем, оказывается, звучали в столицах сперва незамеченные, а потом всё более разочаровывающие голоса. Стало так объясняться публично, что революция была не порывом к общенародному идеалу, но лишь продолжением революционных усилий столетия, и цель её – освободиться от каких-то «буржуев», демократизировать не только общественный строй, но и все имущественные отношения – до самого малого имения, родового очага, фруктового сада, отъёмной рощицы, лошадей, инвентаря, самой земли, большого завода и мелкой фабрики, и «буржуями» стали клясть и нас, радикально-прогрессивные круги, да всех подряд, кто в котелках и с крахмальными воротничками, мешая мародёров тыла и беззаветных земских деятелей, чёрную сотню – и Милюкова, и даже социалиста Плеханова, и девиц на высоких каблуках. После всего нашего общественного пылания – и получить эту пощёчину «буржуй»?

Да очнитесь, соотечественники! Да неужели же мы мерзавцы своего отечества? Да такое ли время теперь, чтобы мы оттеснили общенародные идеалы классовыми интересами? пассивно бы отнеслись к патриотическому долгу? Да надо же поумерить свои аппетиты! надо же работать для родины!

В пасхальные дни казалось, что примирение всё же наполнило сердца. Святую ночь встретил князь Павел в Кремле, на Соборной площади, во всенародном христосовании. И всю Светлую неделю провёл в Москве. Но нет, успокоение оказалось коротким, а с фронта приходили самые тревожные сведения. А князь Павел был привычный гость фронта, он ещё и на японскую войну ездил уполномоченным дворянской санитарной организации, и на этой

бывал не раз уполномоченным от Согора (по глазам освобождённый от воинской службы, а брат-близнец Пётр служил). И теперь князь Павел получил от Думского Комитета делегатскую бумагу для объезда Западного и Юго-Западного фронтов, и после Красной Горки в понедельник выехал. (Ещё холодно, в бобровой шубе и шапке.)

В поезде (почему-то отменены спальные места – что, увеличилось население России? или сократились расстояния?) было много военных – офицеры после лечения, и солдаты то ли из отпусков, то ли, видно, возвратные дезертиры, неласково принятые у себя в деревнях и вот предпочетшие бродяжничеству оседлый армейский быт с пайком. А навстречу-то им – катили поезда, переполненные разнузданными солдатами, – с пением, гиканьем, насмешками и площадной бранью к тем, кто сумрачно ехал в сторону фронта.

Боже мой, предвестья были самые дурные, хуже, чем достигали слухи в Москву. И как же мог за сорок дней так извратиться народный идеал революции в свою противоположность? Всё-таки всегда было ощущение, что Россия – наш дом. А сейчас всё везде как на проходе.

Сперва князь Павел посетил казачью дивизию Краснова, нисколько не разложенную: казаки строго парадировали, гаркали «здравия желаем», «ура» и качали депутата.

Но ничего подобного дальше ему уже не встречалось. Командиры полков бывали растеряны и своими полками уже не владели. На глазах старых генералов и седых офицеров проступали слезы. Положение офицеров было ужасное. Иногда князю Павлу советовали вовсе не выступать, но он велел собирать, подымался на пень и начинал: «Христос Воскресе!» Всё же многие сотни глоток отвечали: «Воистину». И с этого князь и вёл, что гул московских пасхальных колоколов ещё стоит в его ушах и он привёз полку не только привет Государственной Думы, но чаяния из сердца России. А там переводил, чтоб не верили ложным призывам: что нельзя вести окопную войну, не двигаясь вперёд. И иногда так трогал речью, что собирали для правительства полные фуражки серебряных рублей и даже георгиевских крестов (князь всегда изумлялся, как они не жалеют Георгиев?). А то спрашивают: «А как же нам говорят?.. А вот слышно...» – и дальше из социалистических листовок. Или обида: как же так, они служат, воюют, их ранят, убивают – а там землю будут делить? А иногда, особенно если в сумерки и из задних рядов, кричат: «Довольно повоевали! Пора мир и по домам!» – «Хорошо тебе говорить, приехал да и назад, а каково нам вшей кормить в окопах?» – «Да чего его слушать, наступать не будем!» А позовёшь объясниться ближе – никто из задних рядов не идёт, – а офицеры стоят потупившись, и жалко смотреть на них.

Что же: теперь понятие национальной чести – тоже становится «буржуазный предрассудок»? Именно теперь, после переворота, когда мы могли особенно сблизиться с союзниками, – нас отрывают от них?..

И так от одного полка к другому качаются чувства: то – всё пропало, то – ещё можно всё исправить.

А в Елецком полку застал особое положение: полк прогнал своего командира, тот живёт при штабе корпуса, а избран молодой ротный. Командир корпуса очень просил князя поехать образумить полк: если б уладить, чтоб хоть на несколько дней мог вернуться старый командир, самозваного в сторону, а сразу затем назначат нового подходящего. Князь поехал. Самозванец и не появился перед ним, все офицеры мялись, запуганные. Кое-как через старшего по чину созвал именем правительства и Думы не то чтобы полк, а человек 350. Начал беседу христосованием, рассказал про виденную дисциплину казаков, и что надо додержаться до Учредительного Собрания, не нарушая воинский устав, – и ничего о смещении командира. «Могу ли я рассказать правительству, что вы не будете слушать вздорных людей, не нарушите долг? постоите за Россию и свободу?» – «Вестимо постоим». Разошлись. Пошёл князь добиваться, где же самозванец. Еле нашёл, скрывался. Объяснил ему, что приехал без какой-либо власти, доброволец-посредник, обращается как русский человек к русскому, советует явиться к командиру корпуса, а иначе Елецкий полк вовсе расформируют. Тот упрямо: «Если кто и может поддер-

жать в полку дисциплину, то только я». – «Но ведь даже приказ № 1 не даёт права выбирать командиров, это начало разложения, а дальше вас заменит демагог-писарь». – «Не я хотел, меня выбрали». Ни к чему не пришли.

Когда отъехали – шофёр сказал князю: а солдаты думали, что депутат приехал арестовать их выборного командира, – и на беседу имели при себе ручные гранаты, на случай.

* * *

Как теперешний солдат —
Он не хочет воевать.
Стала жизнь свободная,
Война – неугодная.

ДОКУМЕНТЫ – 5
ВОЗЗВАНИЕ К СОЛДАТАМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
7 апреля 1917

Солдаты! ...Массовое дезертирство начинает принимать опасный характер... Распространяемые в армии преступные воззвания о предстоящем теперь же переделе земли... Солдаты! Не ослабляйте армии, покидая её ряды, не верьте слухам. Вопрос о земле будет разрешён только Учредительным Собранием... Ныне оставление рядов армии является отступничеством от начал свободы, так недавно завоёванной.

Военный министр А. Гучков

5

***Станкевич. Проблемы созыва Учредительного Собрания. –
Обстановка на Совещании Советов. Мельканье вопросов. –
Прения о войне. – Как ведутся «Известия». – Группа Ленина
на заседании ИК. Спор о проезде через Германию. – Трения ИК с
правительством. Буря в ИК. – Доклад Станкевича по «Известиям».***

Станкевич сам охотно вызвался готовить доклад об Учредительном Собрании ко Всероссийскому Совещанию Советов. Он много думал об Учредительном Собрании, ещё и раньше.

Да долгими годами – кто из русских интеллигентов не думал о нём, кто не возглашал этого волнующего сочетания слов? В самые мрачные годы царизма всплывало оно перед нами багряным солнечным восходом – началом эры свободы и счастья. Тут довлели нам, конечно, исторические реминисценции – от идеи Руссо об Общественном Договоре – и как Генеральные Штаты в 1789 объявили себя Учредительным Собранием и поклялись не расходиться, пока не выработают конституции. (А наша Государственная Дума, и выборная, не посмела так.) Правда, в толще народа и не понимали, зачем бы оно, но наверх так гипнотически проникло, что вот и Михаил Александрович отрёкся прямо в пользу Учредительного Собрания, которое предполагается непременно.

Ещё никем не созданное. И никогда на Руси не бывалое.

Чем оно займётся? – да кажется, в с е м. Оно установит – вообще все российские порядки. Кажется, ни одной стороны жизни не осталось, о которой бы не возлагали надежд на Учредительное Собрание, что решит – Оно. Не только конституцию, не только взаимоотношения народов России, но и все порядки с земельной собственностью, но и все социальные отношения, но и все государственные законы, а между прочим и всякое нынешнее многовластие, и идущую войну, и будущий мир.

Когда оно будет собрано? В первые дни марта и учёные юристы, как Кизеветтер, заявляли: через месяц или два. Значит, к началу мая. Спустя неделю Временное правительство известило Исполнительный Комитет, что предельный срок созыва – середина лета, а ИК считал этот срок слишком отдалённым и торопил. (А больше всех торопили большевики, им же особенно жаждалось Учредительное: не оттягивать, чтоб не остыли революционные страсти.) А размыслив о трудностях выборов, когда 10–12 миллионов самого активного населения в армии, – так не лучше ли отложить на после войны, тогда выборы можно провести спокойно? – стали поговаривать в правительстве. И вот сейчас, на кадетском съезде, Кокошкин заявил: неправильно предполагать, что можно собрать даже за 4 месяца, то есть в конце июля. Да во время летней страды – какие выборы? кто из крестьян поедет голосовать? – Станкевич тоже думал, что раньше сентября уж теперь никак не получится. И в конце же марта, через месяц после революции, постановило правительство начать созывать пока Особое Совещание по изготовлению проекта Положения о выборах, человек 60–70 лучших юристов и представителей общественности, и это Совещание будет не один же месяц выработывать, как всё лучше устроить, и будет рассылать консультационные вопросники во все политические и общественные организации: одинаковые ли устанавливать условия для пассивного и активного права? мажоритарная или пропорциональная система? сколько установить членов Собрания? с какого возраста избирательное право? как быть с цензом оседлости? а как будут избирать военнотружущие – по избирательным округам или воинским частям? а если части – в бою? (А вот уже требуют: не лишать избирательных прав и дезертиров.) И пока это Особое Совещание, само

тоже громоздкое, как парламент, всё соберёт и переработает, а потом составление избирательных списков и сроки обжалования их, и сроки для избирательной агитации, чтобы не было упрека, что воле народной не дали проявиться должным образом, – так и подкатит глубокая осень, а по осенней российской распутице разве поедет деревня голосовать?.. Тогда уж – на зиму?

Жарко желалось Учредительное Собрание, но подумаешь над ним пристально: для России, не знавшей таких выборов никогда, да во время войны, да после революционного расшата, когда не осталось на местах нигде самоуправления, – как же проводить всероссийские выборы ещё и без местных властей? А прежде избирать местные власти – тоже надо: положение о выборах, избирательные списки, опротестование, агитация?..

В прежних мечтах наших никогда это всё не обдумывалось.

Станкевич эти недели внимательно следил за проблемой. А когда поручили доклад – считал честным не скрыть перед Совещанием Советов всех трудностей. Да, Учредительным Собранием увенчается победное здание революции, это будет в полной форме воплощение принципа народовластия. Это будет акт становления совсем нового государства. Но сейчас для организации выборов у нас даже нет ячеек местной власти. И не следует закрывать глаза: нации России явятся в Собрание не дружной толпой, а со старыми взаимными тяжбами и требованиями, подчас исключаящими друг друга. А тут – кипит война. А тут – властный клич из деревни о земле! И – продовольственный кризис. И – транспортная разруха. Любая одна из этих проблем заняла бы всё внимание и силы вполне подготовленного и делового законодательного собрания, не такого, каким будет совсем неопытное наше. А – с какого возраста избиратели? Все сходятся, что не ниже 20 лет, но под ружьём есть и 18-летние – можно ли при подаче голосов разделить товарищей по оружию, идущих равно умирать? А если голосует 18-летний солдат, то как лишить 18-летнего рабочего на руднике? А – как лишить избирательного права беженцев, жертв войны? А как посмотрят на их участие местные жители? (Беженцы требуют и – посылать бюллетень по прежнему местожительству.) Участие женщин – кажется несомненным, это будет наше лучшее завоевание в мире, – а вот демократические голоса указывают, что русская деревенская женщина в своей большей части до сих пор ещё плачет, что нет на престоле Николая Романова. Она и заголосует нас всех. И все деревенские женщины сплошь – под влиянием священства. (Впрочем, если выборы будут в сборных пунктах уезда, то какая женщина бросит избу, детей – и поедет в город голосовать?) Деревня темна, и она может поразить нашу революцию сюрпризом. А как провести всеобщее тайное голосование при массовой неграмотности? Если б мы могли успеть справиться с задачей просвещения тёмных масс – нам не был бы страшен случайный результат голосования. Но с другой стороны, если мы будем откладывать и откладывать, то упадёт революционное настроение. И другая есть опасность: что неграмотная масса будет забита малыми, хорошо организованными группами. (А «Известия» наводят, что и в армии «может не найтись достойных кандидатов», и – дать армии, и каждой местности, право избирать не своих, а приезжих из городов, то есть делегатов подменных.) Вся будущность российской свободы ставится на карту: как мы подготовим эти выборы?

А ещё же – где быть Собранию? Настойчиво выдвигают Москву, выступают деятели, пишут газеты: только первопрестольная Москва, ибо в ней одной чувствуется настоящий пульс русской национальной жизни, она безконечно дорога русскому сердцу, а у Петрограда – чиновный и интернациональный характер, он в чуждом климате, в стороне от России и её производительных центров, и противостоит ей, никогда не пользовался её доверием, только так и мог развиваться Двор, похожий на немецкий, и космополитическая каста бюрократов, мертвящая иноземная мерка на все благие начинания земской России. Но перенести Учредительное из Петрограда – это перестройка всего административного аппарата, масса технических трудностей, – да и не хочет ни одна социалистическая партия.

А пока мы ломаем голову надо всеми этими проблемами и тянем – а жизнь идёт, и что-то надо решать, и вон Временное правительство без всякого Учредительного Собрания утвердило акт о самостоятельности Польши. Немало.

Всё это готовился сказать Станкевич в докладе – но была ещё одна сторона, о которой говорить ли Совещанию Советов и как? – это сами Советы: как они будут вести себя при выборах в Учредительное? Ведь не безучастно. По меньшей мере, они будут контролировать выборы – но насколько беспристрастно? А верней всего и агитировать, и активно участвовать? – так они полностью и определяют состав Учредительного Собрания. Ведь Советы – это тоже как бы всенародность, и – зачем им вторая всенародность, в виде Учредительного? Одна всенародность – отменяет другую. Но пока Учредительное соберётся отменить Советы – у этих уже кадры, они овладелись, у них навыки властно распоряжаться, – неужели они теперь упразднятся?

И к чему тогда весь доклад?

Что-нибудь об этом Станкевич решил намекнуть. Предупреждающе для умных.

Но – так потекло Совещание, что скомкался и уже на хвосте, без значения и последствий проскользнул его доклад: не оставалось уже времени, ни тем более на прения, проскочило это Учредительное Собрание как курьерский мимоходный поезд, мало кем и разглаженный, а при голосовании подготовленной резолюции уже не было и половины Совещания – разъехались на Пасху. Но не упустили постановить, что Советы должны существовать на средства от государства.

А скомкали всё потому, что Совещание было размахнуто без расчёта и проведено без разума. Первый день заседаний чуть не весь ушёл на приветствия и на провожанье гроба Стасика Чхеидзе на вокзал, в Батум. Часа два то ждали Бабушку, то слушали её искренно благостное: «Все мы дети одного народа, зачем стали ссориться?» Собрали людей из дальних мест – и растянули на неделю, наворотили невозможное число вопросов и секций, и никто ничего не разбирает. (Хорошая репетиция к Учредительному.)

А между тем: как много можно было тут понаблюдать и поучиться, проверить политику. Это и был – народ, разбуженный революцией, вот он, пришёл! Меньше рабочих, гораздо больше военных, весь думский зал – защитного цвета, и на хорах битком набито солдатами. И лица – хорошие, brave, не подлые, не затаённые. Конечно – говорить не умеют, у большинства мысли расплываются, это скорее – чувства, и нечёткие, и не уложенные во фразы. А то – выскочит маленький солдат с громовым голосом и рубит тоном приказа, без колебаний. И слушают его внимательно.

Но в президиуме сидят – только штатские, десять партийных вождей. На трибуну то и дело выскакивают вовсе не простецкие, а уже знающие пропаганду на зубок. Да даже одни и те же выступают и по второму разу, и по третьему, особенно от партий, Пумпянский ли, сумевший себя выдать делегатом от Читы (по телеграфу, что ли, его избрали), то от Москвы большевик Ногин да эсер Гендельман, и непременно каждый выпечатывает: «Мы, представители рабочего класса». А простаков отрезают от прений десятками, большинство делегатов немые, только мычат да аплодируют, а ход резолюций им не подвластен, их согласуют фракции партийные закулисно.

Так вот так – и ведётся всякое народное движение? Вот это и есть народный форум?..

О войне – всё же было две дюжины ораторов, два заседания, Станкевич напряжённо следил. Тут звучали очень чистые голоса фронтовиков: «Отечество в опасности» – это не фраза, это крик большой души и отчаяния. Наши солдаты требуют определённого: война продолжается, что делать теперь? Вот люди уже отказываются ходить в разведку. Большевики не представляют положения дел в окопах, золотой сон о братстве народов. Нам чужих земель не нужно, но и свою не допустим отдать, все ляжем на поле брани, отразим немца грудью! (И бурные аплодисменты зала.) От Особой армии: стоять до честного мира! Почему немедленное заклю-

чение мира поднимается со стороны тыла, а не фронта? Надо ещё подумать, что нам выгоднее, может быть – продолжать страдать в окопах?

Большевик: зачем войну продолжать? мы что – на службе у англофранцузской буржуазии? С места: а у кого на службе большевики? вон! долой! – и Скобелев едва успокаивает собрание. Конечно, бормочет следующий большевик, мы будем защищаться, пока вы скажете нам, но лучше бы кончить войну поскорей.

Уловки, хитрости большевиков очень заметны были: при их тут малочисленности им мало было занять третью часть прений, но, проигрывая резолюцию, они перенесли усилия на её поправки, один Ногин выступал с тремя подряд и до того разозлил зал, что кричали: «Вон его! Довольно большевиков! Надоели!» И все их поправки были отвергнуты.

Но штатский президиум, все эти «представители рабочего класса» без единого рабочего, и Церетели первый среди них, боялись и всяких других поправок, и о возможности идти в наступление, – а всю резолюцию провели чохом, в их заранее подготовленном виде.

Так наблюдал Станкевич «разлив демократии» и как ведут массу.

Все страсти вились вокруг доклада ломовитого Стеклова. Правда, громить Временное правительство – это была уже не новость: на многих заводах и во многих воинских частях его поносили последними словами социалистические агитаторы, и фронтовые гудящие солдатские митинги уже приучены были обсуждать: доверять или не доверять правительству. Но Стеклов в докладе далеко перешёл эти границы: он дразнил зал, как быка красным, он прямо кидал в зал огонь, что Временное правительство контрреволюционно, а Гучкова назвал *тёмной силой*, как недавно обзывали только распутинский кружок, – и солдатская доверчивость впитывала такое о своём военном министре.

Нет, Стеклова – окоротить! Один выход – окоротить. А для того всего верней вышибить из-под него «Известия».

Об «Известиях» много было что сказать, да это и каждому видно, если б кто из советских собрался повнимательней и потрезвей посмотреть свой собственный орган. Газета, по сути, никем не *ведётся*, этою работой себя товарищ Стеклов не нагружает. Никакой системы, никакого своего поиска материалов, а печатается месиво из того, что случайно притекло. Нельзя понять, что делается вообще в России, почти совсем нет общероссийских событий, а уж международных и не спрашивай, читать просто нечего. И среди этой скудости вдруг большая статья «Задачи социального законодательства в Финляндии» – с чего? Или на полторы страницы какой-то митинг в Лондоне – и никогда больше об этой Англии ни слова. Или вдруг анонимный учитель – с детальной критикой нового состава совета министерства просвещения, – и ни слова больше никогда ни о просвещении, ни о других министерствах. Никакой градации важных и не важных сообщений. Рядом может стоять: из захолустной провинции, из Стокгольма, и опять из провинции. Какая-нибудь важная телеграмма вдруг печатается с опозданием в три недели. Не сказать, чтоб отражалась и жизнь самого Совета рабочих депутатов (обо всех заседаниях Совета гораздо раньше и подробней прочтёшь в буржуазных газетах). Один раз в месяц – вдруг протокол ИК, и тоже на пять дней позже. 23 марта под давлением общества постановил ИК опубликовать всё-таки свой состав, не известный никому в России, – так товарищ Стеклов это дело самовольно оттянул ещё на шесть дней (и почти все раскрыли свои псевдонимы – но не он, он так и записался Стекловым). Из чего же состоит газета? Из скучнейшего нечитаемого набора однообразных воззваний, приветствий, резолюций, протоколов полковых заседаний – просто печатают всё подряд, что пришлют серяки, а в самой редакции никто не работает. Заголовков «На областной конференции» – и так до конца непонятно, какой области и какой партии. Потеря и путаница строчек. Грубейшие опечатки: последняя декларация Временного правительства приписана на месяц раньше, к 27 февраля, – бред какой-то. А ведь по «Известиям» вся Россия судит о Петроградском Совете, этой своей необычной, странной новой власти, – и что же выводят? Позорное лицо. А между всей этой серостью время от времени как крупные

нашлѣпы – погромные статьи самого Нахамкиса, всегда без подписи, но всегда легко идентифицируемые – тяжѣлая лапа, безапелляционно грубые выражения.

Станкевич был уверен, что сокрушит Нахамкиса на Исполкоме, уж слишком всё явно. Ему обещали, что выслушают на первом же заседании ИК после Пасхи, 4 апреля. Но на это заседание внезапно явился скандально приехавший накануне Ленин, привѣл с собой выводок – Зурабова, Зиновьева с бабьим голосом и постоянного тут Шляпникова, и все они стали выступать один за другим по внеочередному вопросу: о положении швейцарских эмигрантов. (Они выступали, а лысый, хитрый, очень неприятный Ленин сидел позади у стенки и молчал, как бы нитки невидимые водил.) А Зурабов и Зиновьев говорили даже не от себя, и даже вовсе якобы не для обеления большевицкого вождя и собственного проезда через Германию – но от «швейцарских товарищей-интернационалистов»: это именно они просят, чтоб Исполнительный Комитет давил на Временное правительство, чтобы то вступило в переговоры с германским правительством о пропуске всех оставшихся политических через Германию в обмен на немецких военнопленных из России.

Просьба была – неожиданна и ошеломительна. «Давить на Временное правительство» Исполнительный Комитет и привык, и готов был в любую минуту. Но – давить, чтобы вступать в прямые переговоры с Вильгельмом?? Это было – дико, сразу видно, но и что возразить духу интернационализма? При прежнем руководстве Исполком бы растерялся, как и сейчас растерялись Чхеидзе и Скобелев, а Нахамкис сидел крупно в стороне и довольно разглаживал бороду. И Гиммер не выскакивал ни с какой свежей идеей. А Станкевич, хотя и возмущился, но не числил за собой права на первый ответ, да и не выдержал бы настолько интернационального тона, мог бы испортить. И спасло дело то, что был теперь тут Церетели, так быстро вошедший в авторитет и руководство. И нельзя сказать, чтоб он был отточенно умѣн или владел бы отточенно речью – ни то ни другое, – а вот какая-то верная у него была душа, чутьѣ. Он быстро всё ощутил, и первый ответил, и умело повернул: против Исполнительного Комитета и так уже ведѣтся тѣмная агитация, а если мы примем такую резолюцию – её выгодно используют против нас. Пойдут толки, что мы – в союзе с Вильгельмом, и Германия транспортирует к нам революционеров в своих целях. (Косвенно он так и Ленина осадил.)

Косоглазый Ленин ещё перекоксился, а за Церетели осмелел и Богданов, прямо вскрывая ленинский замысел: против Ленина уже начат буржуазный поход за проезд через Германию, свяжут и нас с ним. Пусть заботится правительство, как эмигрантам ехать через Францию-Англию, а мы – тех, кто самочинно едет через Германию, должны *осудить!*

Тут Ленин не выдержал закулисной роли, вскочил сам и резким, злым, нечистым голосом стал оправдываться, что никаких обязательств Германии они не давали, проект проезда предложил товарищ Мартов, а все переговоры вѣл товарищ Платтен и политические цели германского правительства не имеют ничего общего с задачами, которым служат русские революционеры. А вот Исполнительный Комитет и сам даѣт пищу для инсинуации и клеветы, – а чтобы пресечь буржуазную ложь, надо именно принять резолюцию, предложенную товарищем Зиновьевым.

Ну да, взять на себя резолюцию и обелить ленинцев.

А на Исполнительном Комитете ещё же сидели солдаты, несколько человек. И один из них ото всех тут же и вылепил, что они – против проезда через Германию и против такой резолюции.

И как большевики ещё ни настаивали – резолюция их не выиграла. Хотя согласился ИК все их мотивы объяснить в «Известиях». То есть, вообще-то, проявили слабость, переезд не осудили.

Затянулось заседание, и отложили доклад Станкевича на следующий день. А на следующий день утром в очередных «Известиях» можно было прочесть не только пространную оправдательную (и анонимную) статью большевиков «Как мы доехали», но ещё и исключительно

сочувственную, явно самого Нахамкиса, статью о ленинском приезде. (Такой теплоты «Известия» ещё ни к кому не проявляли.) И Станкевич так понял, что, уже терпя потеснение в ИК, Нахамкис искал себе союзников в большевиках. Да уже и раньше из выступлений на Совещании Советов он печатал крупно, отдельно только Каменева. А в этот день четыре страницы из восьми отвёл своему погромному докладу против правительства.

Ещё решительней пошёл Станкевич на новое заседание, 5 апреля. Но и в новом заседании начали не с «Известий», а с отчёта Контактной комиссии. А после бури с докладом Стеклова против Временного правительства – не было сейчас в ИК напряжённой вопроса, чем отношения с правительством. И кто же делал тут снова доклад? – опять же товарищ Стеков. И он, кажется, вышел – выиграть теперь тот бой, проигранный им на Совещании. Накануне вечером встреча в Мариинском дворце была очень напряжённая. ИК предъявил министрам и своё недовольство, почему назначен Верховным Алексеев без уведомления ИК? И почему так медленно идёт гучковская чистка командного состава? и допустить комиссара Исполнительного Комитета для контроля телеграмм, исходящих из Ставки. (Министры же добивались узнать, как относится ИК к ленинскому проезду через Германию, ИК отказалось разговаривать на эту тему, а Милюков непримиримо заявлял, что действия Платтена враждебны русскому государству.) И если к этому добавить, что в Петрограде Корнилов продолжает приводить войска к присяге, чем ставит в невыносимое положение революционные части, отказавшиеся от присяги; и, хуже всего: что правительство, прежде тянувшее, теперь окончательно отказалось выплатить 10 миллионов на нужды Совета, – отношения стали невозможными и требуют решительных мер!

Сегодня на ИК остро выскочил Гиммер: что отношения неблагоприятны, да, но ИК только регистрирует в пустой след самоуправства правительства и склоняется перед фактами. На их отказы в наших просьбах мы не реагируем энергично. Вот с Платтенем – недопустимый прецедент! – надо всем нашим авторитетом добиться его пропуска со шведской границы в Россию. Надо вообще взорвать гласностью всю ситуацию, надо протоколировать каждый шаг контактов с правительством!

Разумный Церетели возразил, что у него – иное впечатление, правительство очень во многом идёт навстречу, обмен эмигрантов на военнопленных не принят и самим ИК, и нет оснований взрывать ситуацию. В менее официальном порядке достигнешь большего.

Большевики и межрайонец Кротовский требовали – разрывать и взрывать, кончать с теорией «бережения правительства»! И особенно настаивать на пропуске Платтена в Петроград. Прошёл момент, когда мы должны были поддерживать правительство! Оно нас всё более игнорирует. Публично отказать ему в поддержке!

Три дня назад на Совещании сами же провели резолюцию о поддержке, и вот уже выстраивался целый ряд (а во главе опять с Нахамкисом): атаковать правительство и валить. Рядовое заседание ИК грозило стать ключевым моментом всей революции. И Станкевич, позабыв свою задачу с «Известиями», уже хотел вмешаться на защиту Церетели – как ловко выступил Богданов. Он указал, что ИК ослабил себя сам тем, что даёт бой и терпит поражение на самых невыгодных вопросах. Когда часть армии уже присягнула – глупо и проигрышно было поднимать вопрос об отмене присяги. И глупо и проигрышно лезть в петлю об обмене и о Платтене, следовать за ленинской группой, которая не посчиталась с интересами российской революции, а только со своими желаниями. И совершенно глупо устраивать публичность из того, что нам не дают государственных 10 миллионов, – мы не найдём поддержки общественного мнения.

Церетели выразил, что на этом и кончится обсуждение, что всё ведь только что решено на Всероссийском Совещании, – но нет, к чёрту то Совещание и всякий порядок, началась почти свалка (видно, у большевиков с Нахамкисом было сговорено – сегодня опрокинуть), большевики настаивали, но даже и умеренные Брамсон, Дан потеряли голову от ускользающего блеска этих 10 миллионов, а Красиков снова кричал, чтобы Контактная комиссия вела переговоры

под протокол и министры бы подписывали каждый протокол (совсем уже превратить министров в пешек!). Но даже и Нахамкис очнулся ему в возражение, что тогда министры станут слишком осторожны в переговорах, невыгодно для нас же, а Гиммер язвительно развивал идею протоколов, даже присяжных протоколистов – нотариуса с двумя писцами. Кричали, спорили с разных сторон – и Чхеидзе не только потерял управление заседанием, но собственную ослабевшую старую голову, неделю назад похоронившую сына, потерял от гвалта и закруженно предложил: вообще отменить Контактную комиссию и вообще не встречаться больше никому с правительством, а встречаться с ним только в письменной форме... Заседание ошеломилось, смолкло. Брамсон очнулся из первых: это лишает нас всех выгод непосредственных встреч. Хорошо, пусть не надо протоколов, но члены Контактной комиссии чтобы вели записи скрытно от министров. (На коленях под столом, что ли?)

И предложение Красикова провалили, но с ничтожным перевесом, а брамсоновское приняли.

И так все чуть ли не лежали вповалку, когда дошло до доклада Станкевича об «Известиях». За время свалки у него уже мелькало, что опять неудачно, упущено, будет некстати. Но тут он встал – и со своим отличным самообладанием и холодной насмешкой вывалял дебелого Нахамкиса всеми боками, не раз вызвав дружный смех уставших исполкомцев. А смех-то больше всего и убивает. Нахамкис, зарвавшись против правительства, – с этой стороны не ожидал, и в такой форме. Вызванные редактора «Известий» стали от Нахамкиса отрекаться и проговариваться, какой же царит в редакции ералаш. Церетели – поддержал Станкевича. Нахамкис оправдывался обезкураженно, безсвязно, ещё хуже себя выставил.

Назначили комиссию, Станкевич-Дан-Гиммер, расследовать редакцию и реорганизовать. (Добить! – наметил Станкевич.)

А был и смешной момент. Помахивая сегодняшним номером «Известий», Станкевич высмеял, что редакция зовёт: найти и выловить авторов анонимных листков, когда сами на каждом шагу анонимны. Но по Исполнительному Комитету прошло недоумение: а разве неправильно?

– Странно сказать, – вслух подумал кто-то, – а нам таки нужна и своя контрразведка.

ДОКУМЕНТЫ – 6

ПРИКАЗ

7 апреля 1917

...Различными местными исполнительными комитетами арестовываются офицеры, и их места замещаются другими лицами без ведома и без согласия высших начальников... Я не могу допустить самоуправных действий. Предлагаю вопрос о всех справедливых претензиях к начальствующим лицам доводить до сведения старших начальников, чтобы тщательное и всестороннее расследование установило степень виновности каждого данного лица.

Военный и морской министр А. Гучков

6

Победа февральской идеи Гиммера. – Циммервальдисты терпят поражение в ИК. – Гиммер на Совецании Советов. – Крах Плеханова. – Встреча Ленина на Финляндском вокзале. – Его речь в первый вечер у Кшесинской. – Его речь на «объединительном» заседании с.-д. – Встреча Чернова и других. – Перенести усилия в «Новую жизнь». – Не курица в супе, но духовная свобода!

Первородный грех нашей революции – крестьянский строй в России. Из-за этого – у нас мало социалистических сил, и когда население, стряхнувшее кандалы царизма, было спрыснуто живой водой революции и могло бы развернуть чудеса самодеятельности – то и в провинции, и в армии инициативу захватывали злобно-буржуазные элементы. Разве мужику в серой шинели доступно понять пролетарские требования, например 8-часового дня? – такой нормы нет ни на фронте, ни в деревне. И во второй половине марта на почве шкурных интересов натравлены были солдаты на рабочих: что те не желают работать и игнорируют интересы фронта. Это была крайняя опасность для революции, когда военные делегации повалили проверять работу на заводах! – крепость революции сама стала под удар крестьянской стихии. И надо было с величайшей тактичностью преодолеть чернозёмный атавизм и стихийно-примитивный, но объективно-необходимый шовинизм этой нечленораздельной массы и взяться за прямое дело социалистического просвещения, вырвать вооружённого мужика из-под вековой власти буржуазии и пронизать его ослепительными лучами революционной гордости. Да в самом Совете большинство было мужицко-обывательское, мужицко-оппортунистическое. И началась – атака всех социалистических партий на мужицко-солдатские мозги, через газеты, листки, посылку делегаций на фронт, митинги и тщательную проработку революционной конъюнктуры в самом Таврическом – со всеми приезжающими (а их приезжало всё больше) военными делегациями: захватить поддержку безсловесных масс. И надо сказать, что в марте Исполнительный Комитет воплотил в себе эту волю пролетарской демократии: если и не всех просветил-убедил, то своим авторитетом заставил следовать за собой. Солдаты были примирены с рабочими требованиями, опасная битва за армию – выиграна. Армия оказалась в руках Совета, и теперь уже никакие шакалы реакции и патриоты по найму, никакие Тьеры и Кавеньяки не задушат российскую демократию! К концу марта силы революции достигли своей высшей точки – всё в руках Совета.

И Гиммер торжествовал, едва ли не более всех! Дело Февраля и весь мартовский путь он считал почти своим собственным творением (хотя со стороны никто этого не заметил и не понял) – и потому-то он был так настороже ревнив и ответственен к неверному направлению событий, всё время черпая ему исправления из лаборатории своей политико-социалистической мысли.

За март мы с лозунгами Циммервальда завоевали и действующую, и тыловую армию – и теперь вся сила в наших руках, мы – в победном положении! Однако: сумеет ли Совет эту победоносность использовать – вот вопрос.

Лозунг «Революция продолжается!» – для Временного правительства непереносим. Тысячу раз презренные злостные лицемеры буржуазии, все слуги толстой суммы и бульвара, теперь кинулись проповедывать бургфриден внутри страны и защиту отечества снаружи, – а что есть эта «оборона отечества», если не гнусное удушение революции? Под флагом защиты отечества или даже «защиты революции» проступает знакомая нам классическая идеология империализма. «Освобождение Бельгии, Сербии, Армении, Курляндии и Польши» – вовсе

не обязательны для окончания войны, но под этим предлогом хотят подчинить себе армию, вырвать её у Совета.

И что изумительно, обнаружил Гиммер: даже их интеллектуальные светила, как Милюков, могут субъективно этого и не понимать! На днях был случай: в перерыве заседаний Контактной комиссии сказал Гиммер Милюкову: «Революция развернулась так широко, как хотели мы и не хотели вы. Закрепить политическую диктатуру капитала вам не удалось. У вас – нет реальной силы против демократии, и армия к вам не пойдёт». А Милюков с совершенно искренней печалью на лице возразил: «Да разве можно так ставить вопрос! Армия должна не идти *к нам*, а сражаться на фронте. Неужели же вы в самом деле думаете, что мы ведём какую-то буржуазную классовую политику? Мы просто стараемся, чтобы всё не расплозлось окончательно». И Гиммер был поражён: вот так номер, Милюков, кажется искренно, *не знает*, что ведёт классовую политику! – и это глава русского империализма, вдохновитель Мировой войны!

Даже частичные уступки в вопросе о мире повели бы к беспощадной диктатуре капитала. Если революция не кончит войны, то война задушит революцию.

Вот почему не утихала тревога Гиммера от самого 14 марта, от опубликования его детища-Манифеста. Уже тогда сразу он резко выговаривал Чхеидзе (и тот не находился ответить) за его незаконные оборонческие комментарии с трибуны Морского корпуса: «...не выпустим винтовки, защитим свободу до последней капли крови».

Но – всё провалил приехавший Церетели, навек открывая свою мелкобуржуазную сущность, – а ведь считался до того дня авторитетным циммервальдистом. Все на ИК были просто ошеломлены: таких резких выступлений в поддержку войны тут ещё не бывало, даже враги Циммервальда невольно приспосаблились к его ветру.

С тех пор дело мира было изъято из плоскости массовой борьбы и передано в плоскость келейного соглашения: Церетели с почётом взяли в Контактную комиссию. И там родилась известная уклончивая милюковская декларация 27 марта. Как будто не ясно, что никакая буржуазная бумажка не имеет ценности, а реальные уступки надо вырывать не мирным соглашением, а давлением масс.

Можно было бы поправить дело на Совещании Советов, если бы дать боевую классовую резолюцию о войне, и Гиммер с Лурье добились попасть в комиссию по составлению той резолюции, – но уж как завёлся в рабочем движении оппортунистический POSSИБИЛИЗМ – его легко не вырежешь. При поддержке безвольного Чхеидзе Церетели и здесь овладел положением, и Совещание объявило своё одобрение декларации 27 марта. (Всё же вставили в ту резолюцию не «защиту отечества», а «защиту революции».)

Гиммер сидел на Совещании в правительственной ложе, и беспокоило его глаз обилие военных делегатов, с особой неприязнью он наблюдал прапорщиков – и явно же переодетых кадетских адвокатов, а каждый нагло говорил «от имени такой-то армии» или «корпуса». Президиум избрали без поправок в том составе, как его наметил ИК. А в нём, конечно, выдавался стройный волоокий Церетели, всегда хорошо слушаемый оратор. У него были вид и повадка безусловно благородные, при гневе его прекрасный голос звенел, а на лбу вздувалась синяя жила, с кавказским темпераментом он безстрашно скакал во все пропасти. Конечно, это был замечательный вожак человеческого стада, но как политический мыслитель – маленький, одержимый утопической примитивной идеей. У этого столь известного социал-демократа не было настоящего пролетарского пьедестала, и это сказывалось на каждом шагу.

Возмущённые яростным докладом Стеклова, правые в ИК в час ночи собрались назначить противоположного содокладчика – и на кого же нахомутать? – на Гиммера! Гиммер – отбивался, он революционер, а не соглашатель! (Он сам нисколько не был против угроз, которые Стеклов раздарил буржуазии: не только надо было угрожать, но и действовать!) Однако весь ИК рассчитывал на Гиммера как на теоретика и писателя, и, чтоб откупиться, пришлось

на следующее утро представить в ИК тезисы: Временное правительство – классовый орган буржуазии, а Совет – классовый орган демократии, и между ними неизбежна непримиримая классовая борьба, однако форма этой борьбы пока может быть и не свержение, а – давление, контроль и мобилизация сил. И очень одобрил эти тезисы Каменев, но летучее заседание ИК, и первый Церетели, решительно отвергло, и так спасся Гиммер от содоклада.

И в такой вот напряжённой борьбе, неразличимо ночь от дня, протек и весь март, и советское Совещание на переломе к апрелю; обедал где попало, а ночевал чаще тут, на Песках, у своего революционного дружка, к себе на Карповку в полночное время не добираться. И как-то ночью совсем замученных Чхеидзе, Дана и Гиммера развозил по квартирам автомобиль – и вдруг все разом увидели, и все трое испугались: шла большая ночная толпа, и у всех зажжённые свечи, и все поют! Что ещё за демонстрация? – ИК не назначал её, и не был информирован, чего они хотят?? А шофёр сказал: да Пасха завтра. Ах Па-асха... Ну, совсем из головы.

И гордился Гиммер своим положением внефракционного, всегда неповторимо одиночного (его излюбленный приём был – агитация по кулуарам, поодиночке – и так он готовил себе сторонников перед голосованием). Но уже охватывала и тоска: да почему же он такой роково-неповторимый и совсем уже отдельный? Нельзя вести борьбу дальше без прочных союзников – с кем-то надо соединиться. Вот со Стекловым не получалось никак. Очень бы хотелось блокироваться с Каменевым, и чаще всего совпадали с ним установки, но Каменев недостаточно боевой. А беда, что среди революционеров редко кто добросовестно занимается революционно-социалистической культурой. Каменев как раз занимался ею, тем и был симпатичен, остальные большевики – никуда не годились. А вне большевиков Лурье, Шехтер – боевые, но недостаточный уровень, тем более Кротовский. А Эрлих, Рафес, Канторович – социал-предатели. Искать в эсерах? (Они теперь сильно ослабли.) Александрович – исключительно боевой, просто гневный кипяток, но в теории лыка не вяжет, и выступать не умеет, и только всё грозит: «А вот приедет на них Гоц! А вот – приедет Чернов!» Ну, приехал вот Гоц – и что? Разве младший брат Гоц похож на своего бессмертного старшего? Никакой он не теоретик, никакой самостоятельной мысли, ни малейших ресурсов вождя, выступления его безсодержательны, а так, техник, организатор. А вот – приехал Дан, и доизбран в ИК. Связывал Гиммер и с ним надежды – всё-таки выдающийся представитель в Интернационале, и вся жизнь его слита с социал-демократией, и верный классовый инстинкт, и теоретическая мысль, хотя, надо признаться, писатель не блестящий, и оратор не первоклассный. Но – сказывается, что он из родоначальников меньшевизма и столп ликвидаторства. Из сибирской ссылки выглядел интернационалистом, а приехал – и в ИК сразу укрепил Церетели. Нет людей!

Объективный тон в Исполнительном Комитете становился всё неблагоприятней. Маленькая решительная циммервальдская группа – сам Гиммер, Стеклов и ещё человека два, начавших революционный курс Совета, вот уже были оттеснены и не направляли советской политики. Отцвёл светлый период половины марта, когда господствовала революционная линия. Состав ИК всё расплывался в мелкобуржуазную сторону и метался между пролетариатом и плутократией, верх брало интеллигентски-обывательское большинство, *правые мамелюки*, как обозвали их Гиммер с Лурье. Можно ли было в февральские пламенные дни ожидать такого коварного поворота, что наедут свои же оборонцы и построют над Советом мелкобуржуазную соглашательскую диктатуру, толкающую революцию в болото? Вместо ожидаемой капитуляции цензового правительства перед Советом – капитулировала революционная политика Совета?

А надвигалось – и ещё опасней: в последний вечер марта на Финляндском вокзале встречали из-за границы Плеханова. Очень-очень опасался Гиммер вреднейшей роли оппортуниста и социал-патриота Плеханова в дальнейших событиях нашей революции! И – чужд был торжеству его встречи, не поехал на вокзал с другими членами ИК. Но тут же самого разобрало любопытство: как же всё-таки не посмотреть? И – поехал в Народный Дом на Кронверкском,

куда Плеханова должны были привезти с вокзала. Из-за этого приезда не было в тот вечер делового заседания советского Совещания, однако чтобы чем-то занять приехавших делегатов и петербургский Совет – собрали их в большом зале Народного Дома, Чхеидзе и Церетели провозгласили им грядущее победное шествие мировой революции, после чего вожди уехали на вокзал, а на сцене в президиуме осталось несколько безымянных солдат – и потёк бесконечный ряд приветствий от неумытых, из провинции, из воинских частей, и от поляков, и от казаков, от латышей, евреев, эстонцев, – всем уже надоевших приветствий, заболтались, кому что в голову вскочит, шёл час за часом, и ничего не случилось. Гиммер сидел зрителем в зале. Уже начались и нетерпеливые возгласы против ИК: зачем их сюда собрали? А поезд ещё опоздал, и на вокзале было много приветствий от вождей – старейшему вождю, а тут – всё тянулись и тянулись дежурные приветствия. А потом с вокзала все члены ИК поехали по домам, а сюда, в собрание, Плеханова привёз один Чхеидзе, сам спотыкаясь от усталости. Вывел старика из-за декораций и представил его: изгнанник! теперь завершит дело освобождения России! – и поднялась шумная овация, а потом стихла внимательно, – и весь этот зал, Советы столицы, провинции и армии – Плеханов мог взять одной энергичной речью вождя. И много бы напортил потом. Затаив дыхание, ждали, что скажет старик. А он, измученный, неподвижно стоял в глубине сцены в шубе, как чучело, и только кланялся, и ни слова не промолвил. И тут обрадовался Гиммер: нет, не бывать Плеханову вождём, всё упущено, не годен. (Через день приводили его в Белый зал на советское совещание, и опять Чхеидзе объявлял глуповато: «Кровавый Николай хотел стать изгнанником в Англию или подальше, а мы сказали – нет, посиди, пока приедет Георгий Валентинович, наш дорогой учитель, товарищ, изгнанник». И Плеханов держался за руки с западными социалистами, и слабым голосом речь произносил, – нет, никакого впечатления. Сдал, не опасен. А следом и заболел.)

А через три дня после Плеханова – да приезжал Ленин!

Вот тут у Гиммера заколотилось сердце невыносимо. Как он ни разногласил порою с Лениным, как тот ни поносил Гиммера «пустейшим болтуном, каких много в наших буржуазных гостиных», впрочем, помягчел за войну – «один из лучших представителей мелкой буржуазии», – но так был крепок в Ленине левоциммервальдский ветер, такой был в нём несравненный революционный напор, – затаённо мечтал Гиммер именно в Ленине найти себе крепчайшего союзника! А тут ожидалась отвратительная буржуазная кампания против Ленина за проезд его через Германию, и готовился Гиммер в своей начинаемой с Горьким газете дать отпор этим патриотическим лавочникам, этому морю обывательской пошлости из бульварных газет: а *что*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.